ЭРВЕ БАЗЕН



Семья Резо

семейная библиотека

Змея в кулаке
Эрве Базен

Аннотация
Эрве Базен. ЗМЕЯ В КУЛАКЕ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Аннотация

Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.

Эрве Базен
ЗМЕЯ В КУЛАКЕ

I

Лето, мягкое, но устойчивое в Кранском крае, согревало бронзовые завитки безукоризненно свитой спирали: это тройное кольцо живого браслета пленило бы ювелира, только в нем не было классических сапфировых глаз, потому что гадюка, на мое счастье, спала.

Она спала даже слишком крепко: вероятно, ослабела с годами или утомилась, переваривая лягушек. Геркулес в колыбели, удушающий змей, — вот он, воплотившийся античный миф. Я сделал то, что, очевидно, сделал и он: быстро схватил змею за шею. Да, за шею, и, конечно, совершенно случайно. Словом, произошло маленькое чудо, еще долго служившее предметом душеспасительных бесед в нашем семействе.

Я схватил гадюку за шею, у самой головы, и сжал ее, вот и все. Змея внезапно взвилась, как пружина, выскочившая из корпуса часов — а ведь этот корпус был для моей гадюки жизнью, — отчаянный рефлекс, в первый и в последний раз запоздавший на одно мгновение: она свивалась, извивалась, обвивала мне руку холодными

кольцами, но я не выпускал своей жертвы. К счастью, голова змеи — это треугольник (подобный символу бога, ее извечного врага), и держится он на тонкой шее, которую легко сдавить рукой. К счастью, шершавая кожа гадюки с сухими чешуйками не обладает защитной скользкостью угря. Я сжимал кулак все крепче, нисколько не испугавшись внезапного пробуждения и дикой пляски существа, казавшегося во сне таким мирным, похожим на самую безобидную игрушку, я был даже заинтригован. Я сжимал кулак. Розовый кулачок ребенка может порой сравняться с тисками. И, сжимая кулак, я, чтоб получше рассмотреть змею, придвинул ее голову чуть ли не к самому своему носу, близко, на расстояние лишь нескольких миллиметров, но успокойтесь, этого оказалось достаточно, чтобы гадюка лишилась последней возможности в бешенстве вонзить в меня сочившиеся ядом острые зубы.

И знаете ли, у нее были красивые глаза — не сапфировые, как у змей на браслетах, а из дымчатого топаза с черными точками посередине, глаза, горящие искрами огня, который, как я узнаю впоследствии, зовется ненавистью; подобную ненависть мне доведется увидеть в глазах Психиморы, то есть моей матери, с той лишь

разницей, что мне тогда уже не захочется играть (да и то не могу с уверенностью сделать такую оговорку!).

У моей гадюки были крошечные носовые отверстия и удивительная, широко зияющая пасть, похожая на чашечку орхидеи, а из нее высовывалось пресловутое раздвоенное жало — одно острие, нацеленное в Еву, другое в Адама, — знаменитое жало, которое просто-напросто похоже на вилочку для улиток.

Повторяю, я крепко сжимал кулак. Это очень важно. Это было так же очень важно и для змеи. Я сжимал кулак, и жизнь затухала в ней, ослабевала, тело ее повисло в моей руке, как дряблый жезл Моисея. Ясное дело, она еще дергалась, но все реже и реже, изгибаясь сначала спиралью, затем в виде епископского посоха, потом как вопросительный знак. Я все сжимал. И наконец последний вопросительный знак обратился в гладкий, бесповоротно неподвижный восклицательный знак — не трепыхался даже кончик хвоста. Два дымчатых топаза померкли, полуприкрытые лоскутками голубоватой тафты. Змея, моя змея, умерла — вернее сказать, для меня, ребенка, она вернулась к состоянию бронзы, в котором я обнаружил ее несколько минут назад

у подножия третьего платана Мостовой аллеи.

Я играл с ней минут двадцать, укладывая ее то так, то этак, теребил, дергал ее безрукое, безногое тело извечного калеки. Змея была мертва, как может быть мертва только змея. Очень скоро она потеряла свой прежний вид, лишилась металлического блеска, стала просто тряпкой. И она показывала мне свое белесое брюшко, которое все животные из осторожности скрывают вплоть до смертного часа или часа любви.

Когда я обвязывал ее вокруг своей лодыжки, зазвонил колокол у ворот «Хвалебного» — детей сзывали к полднику, состоявшему из тартинок с вареньем. В этот день полагалось докончить банки мирабели, немного заплесневевшей за четыре года хранения в буфете, но куда более приемлемой, чем смородиновое желе, которое как-то особенно противно было мазать на хлеб. Я мигом вскочил на свои грязные ноги, не забыв захватить с собой гадюку — на этот раз я держал ее за хвост и очень мило раскачивал ее, как маятник.

Но вдруг мои первые научные размышления оборвал испуганный вопль, и из окна трусливой мадемуазель Эрнестины Лион донеслось до моего слуха исполненное ужаса приказание:

— Бросьте это сейчас же! — И еще более трагический возглас: — О, несчастный ребенок!

Я остановился в замешательстве. Откуда такая драма? Зовут друг друга, перекликаются, бешеный топот каблуков по лестнице. «Мадам! Господин аббат! Сюда! Скорей!» Где же остальные? Отчаянный лай нашей собаки Капи (мы уже прочли «Без семьи»). Звон колокола. Наконец, бабушка, вся белая, как ее батистовое жабо, откидывая носком ботинка подол своего неизменного длинного серого платья, выбежала из парадного. В ту же минуту из библиотеки (правое крыло здания) выскочила тетушка Тереза — графиня Бартоломи (титул, полученный в годы наполеоновской империи), вслед за ней — мой дядя, папский протонотарий[1], а из бельевой (левое крыло) гувернантка, кухарка и горничная... Все семейство, все слуги, чада и домочадцы высыпали из бесчисленных дверей дома, словно кролики из большого крольчатника.

Поистине осторожное семейство! Окружив меня плотным кольцом, родные все же держались на почтительном расстоянии от гадюки, которую

[1] Примечания: 1

*Папский (апостольский) протонотарий — почетный прелат, которому папа римский присвоил этот титул и его особые привилегии. (*здесь и далее, звездочкой отмечены примечания верстальщика)*

я вертел за хвост, и это мое движение придавало ей вполне живой вид.

Тетушка Тереза. — Она мертвая?

Горничная. — Мне сдается, это простой уж.

Гувернантка. — Фреди, не подходите!

Глухонемая кухарка. — Крррхх!

Аббат. — Ну, и задам же я тебе порку!

Бабушка. — Детка, дорогой, брось этот ужас!

Отважный, гордый, я протянул свой трофей дядюшке протонотарию, по профессии своей врагу любого змия, но сей священнослужитель отскочил в сторону по крайней мере на метр. Остальные последовали его примеру. Однако бабушка оказалась храбрее, прочих (на то она и бабушка) и, подойдя ко мне, вдруг ударила лорнетом по моей руке, так что я выронил змею. Гадюка бессильно шлепнулась на крыльцо, и дядя, расхрабрившись, принялся добивать ее, весьма воинственно попирая змия пятой, подобно архангелу Михаилу, своему небесному патрону.

Как только всякая опасность миновала, четыре пары женских рук мгновенно раздели меня, четыре пары женских глаз осмотрели меня с ног до головы и установили, что я чудесным образом спасся от ядовитых укусов. На меня живо накину-

ли рубашку, ибо не пристало отпрыску семейства Резо, даже малолетнему, стоять нагишом перед слугами. Оторвавшись от гадюки, превращенной в месиво, дядя в черной сутане, грозно размахивая руками, приблизился ко мне, суровый, как само правосудие.

— Что, укусила она этого дурака мальчишку?

— Нет, Мишель.

— Поблагодарим господа, дорогая матушка.

Вслух прочитаны были «Отче наш», «Богородица», мысленно каждый приносил какой-либо обет за чудесное мое спасение. Затем папский протонотарий схватил меня, положил поперек колен и, возведя очи к небу, методично отшлепал.

II

«Хвалебное». Великолепное название для падших ангелов, для мелкотравчатых мистиков. Однако поспешим пояснить: речь просто-напросто идет об искажении слова «Хлебное». Но добавим также, что «не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», и искажение наименования может быть оправдано, ибо, поверьте, в «Хлебном» ли, в «Хвалебном» ли всегда выпекали опресноки.

Переходя на более прозаический язык, скажем, что «Хвалебное» в течение двух с лишком столетий служило местопребыванием семейства Резо. Это скопище построек, началом которого явилась, вероятно, пекарня, стало в конце концов неким подобием замка. От хаотичности, если не от претенциозности, его спасал фасад, в жертву которому была принесена разумность расположения внутренних помещений; словом, «Хвалебное» — характерный образец лжезамков, столь любезных сердцу старой буржуазии. Старинные семейства в наших местах страдают не меньше, чем женские монашеские общины,

закоренелым пороком — и те и другие обожают строиться. Наши крестьяне, близкие родичи бретонских крестьян, ограничиваются тем, что прикупают землицы — если есть возможность, округляют свои поля. Самые богатые из них разве что позволяют себе построить прочный хлев из добротного камня, а камень — редкий у нас строительный материал, его доставляют из Беконской каменоломни, и перевозка обходится недешево. Но наши буржуа, по-видимому, чувствуют потребность нагородить побольше бесполезных комнат — соответственно количеству гектаров земли, на которые распространяется их право взимать поборы и охотиться на дичь.

«Хвалебное!» Тридцать две комнаты, с полной обстановкой, не считая часовни, не считая двух благородных башенок, в которых скрыты отхожие места, не считая огромной теплицы, нелепо обращенной на север, благодаря чему в ней каждую зиму замерзают олеандры, не считая маленькой фермы садовника, прилегающей к усадьбе, не считая конюшен, впоследствии ставших гаражами, не считая различных служб и множества беседок в парке, посвященных каждая какому-нибудь святому, скрючившемуся в нише, — во время крестного хода в канун дня

Вознесения перед ними служили молебны о ниспослании хорошего урожая... Я еще забыл упомянуть о двух-трех голубятнях, давно уже отвоеванных воробьями, о трех колодцах, давно уже обвалившихся, но сохранивших шиферную кровлю, о двух парадных мостах, перекинутых через жалкую струйку воды, именуемую рекой Омэ, вдобавок к этому несколько шатких мостиков и десятка три каменных и деревянных скамеек, разбросанных по парку, чтобы дать приют изысканной усталости хозяина поместья.

Эта забота о хозяйских седалищах была единственным реальным стремлением к комфорту в нашем «Хвалебном». Телефон, центральное отопление оставались сказочной мечтой! Даже самые обыкновенные, самые простые удобства, о которых извещали объявления в местной газете, были там совершенно неизвестны. Питьевую воду весьма сомнительного качества доставали из старого колодца глубиною в сто метров, и бадью ставили на закраину всю в жирных слизняках. Только в гостиной имелся паркет, да и тот уложенный прямо на землю, так что половицы приходилось менять каждые десять лет, остальные же комнаты были вымощены терракотовыми плитками — именно «вымощены», так как плитки даже и

не подумали сцементировать. А в кухне и того хуже: там полом служили большие плиты из сланца, добытого в Нуайан-ла-Гравуайер, кое-как скрепленные глиной. Печек мало, зато изобилие огромных каминов с чугунными подставками для дров. Добавьте к этому отжившие свой век проселочные дороги, усыпанные капустными кочерыжками, чисто местная, а следовательно, чисто крестьянская пища, — климат, весьма точно охарактеризованный старым девизом бывших сеньоров Соледо Кранского края: «Свети в водах, мое солнце!» — и вы согласитесь со мной, что наше «Хвалебное» было пригодно для жилья только летом, когда болота вокруг речки Омэ дымились на солнце, потом высыхали, покрывались корочкой, которая, растрескавшись, лежала широкими пластинами, и тогда по ним осторожно ступали легкими ножонками мальчишки, охотясь за яйцами славок.

Наша бабушка прекрасно это понимала и дважды в год, в точно определенный день, совершала переселение, не забывая захватить с собой пианино, швейную машинку и целую батарею медной кухонной утвари, имевшейся лишь в одном экземпляре. Однако позднее нам пришлось круглый год жить в Доме (с большой

буквы) и довольствоваться им, как довольствовались местные небогатые помещики своими усадьбами, во всем похожими на нашу.

В те времена, к которым относится это повествование, то есть лет двадцать пять тому назад, наш край был куда более отсталым, чем теперь. Пожалуй, самым отсталым во всей Франции. Этот клочок глинистой земли, расположенный на рубеже трех провинций — Мен, Бретань и Анжу, — не отмечен крупными историческими событиями, кроме, может быть, тех, которые происходили в годы Революции, и, в сущности, не имеет определенного наименования. Называйте его как хотите: Анжуйский Бокаж, Сегрейский или Кранский край. Три департамента поделили эту бывшую марку, лежавшую между областями «большого» и «малого» соляного налога[2], отупевшую за долгие века неусыпного надзора и жестоких преследований. До сих пор сохранились зловещие названия: «Дорога соляной контрабанды», «Ферма кровавой соли», «Усадьба семи повешенных». Совсем не живописный край.

---

[2] Примечания: 2

*Соляной налог во Франции (габель) был введён в 1342 г. Уровень налога для каждой области различен: провинции, получавшие соль с побережья Атлантики, платили «большую габель», ставка которой вдвое превышала аналогичный налог в других провинциях («провинциях малой габели»), получавших соль со средиземноморского побережья.

Болотистые луга, поросшие осокой; дороги в ухабах, требующие повозок с огромными колесами; бесчисленные живые изгороди, превратившие поля в шахматную доску, где каждая клетка окружена щетиной колючего кустарника; старые кривые яблони, обвитые омелой; пустоши, заросшие дроком, а главное — тысяча и одно болото, порождающие мрачные легенды, водяных ужей и немолчных лягушек. Рай земной для бекасов, кроликов и сов.

Но отнюдь не райская обитель для людей! Хилый народ, классический тип «выродившегося галла», кривоногий, сильно подкошенный туберкулезом и раком; как встарь, приверженный к обвисшим усам и чепцам с голубыми лентами, к густой, как раствор цемента, похлебке, покорный церкви и помещику, недоверчивый, как ворон, цепкий, как сорняк, падкий на сливянку и особенно на грушовку. Почти все они арендаторы, обрабатывают насиженные земли, которые переходят от отца к сыну. Крепостные в душе, они посылают в парламент с полдюжины виконтов-республиканцев, а в церковные школы — с полдюжины мальчишек, которые с годами становятся рабочими-испольщиками и бесплатными прислужниками.

Это обветшалое обрамление вполне соответствовало нашей былой славе, ныне всеми позабытой, подобно ночным колпакам. Узнайте же наконец, что я принадлежу к знаменитому роду Резо. Знаменитому, понятно, не в масштабе всей планеты, но, во всяком случае, за пределами департамента. На всем западе Франции наши визитные карточки (литографированные, если представлялась возможность) всегда лежат на медных подносах поверх других. Буржуазия нам завидует. Дворянство нас принимает, а иной раз даже выдает за отпрысков нашего рода своих дочерей, если только не покупает одну из девиц Резо. (По правде говоря, увлеченный остатками нашей подмоченной гордыни, я забыл поставить глаголы этой фразы в прошедшем времени.)

Исторические анекдоты наверняка не осведомят вас о том, что Клод Резо, вандейский капитан, первым ворвался в Пон-де-Се[3] в дни кратковременного наступления «королевской и католической» армии. (С тех пор поют: «...католической и французской».) Имя Фердинана Резо,

---

[3] Примечания: 3

*Имеется в виду битва при городке Пон-де-Се между сторонниками короля Людовика XIII и его матери Марии Медичи, в которой погибло всего 42 человека. Ввиду ее военной незначительности упоминается историками как «смешная история Пон-де-Се».

вначале состоявшего секретарем претендента на престол, а затем депутатом-консерватором в парламенте «ихней» республики, вероятно, тоже не врезалось вам в память.

Но Рене Резо? Кто же не знает Рене Резо, низенького усатого человечка, размахивавшего шляпой в арьергарде Бурнизьена, Резо, чей талант так щедро проявлялся при раздаче наград в церковных школах департамента? Помните это и относитесь ко мне с уважением, ибо Рене Резо приходится мне двоюродным дедом. Возвращение к земле, возвращение Эльзаса, возвращение к феодальным замкам, возвращение к христианской вере — вечное возвращение на круги своя! Нет, вы, конечно, не забыли этой программы. Рене Резо, гордость и блеск нашего семейства, родился слишком поздно для того, чтобы вступить в ряды папских зуавов[4], а скончался слишком рано, чтобы стать свидетелем триумфа партии народно-республиканского движения, но его не мог выбить из седла ни один из лозунгов, выдвигавшихся в период между тремя войнами. Кавалер

[4] Примечания: 4

*Папские зуавы — воинское формирование, сформированное в 1860 г. для защиты Папской области с целью помочь папе римскому Пию IX в его борьбе против итальянского национально-освободительного движения.

командорского креста св. Григория, подписывавший выгоднейшие договоры с издательствами, выпускавшими благочестивую литературу, сумел завоевать славу семейству Резо, завладев креслом члена Французской академии, где с удовольствием просидел около тридцати лет. Мне, разумеется, не нужно вам напоминать, что смерть поразила его в 1932 году, после долгой и изнурительной болезни мочевого пузыря, и что кончина эта, окружившая его ореолом мученичества, послужила поводом для бесконечного скорбного шествия почтенных, благомыслящих людей, дефилировавших мимо его гроба под каплями святой воды, падавшими с кропила, и брызгами слюны разгоряченных ораторов.

У этого героя был младший брат, и этот младший брат стал моим родным дедом, и мой дед, подобно всем людям, имел жену, и носила она евангельское имя Мария. Он наградил ее одиннадцатью чадами, но лишь восемь сумели пережить «христианское воспитание». Дедушка произвел на свет одиннадцать детей потому, что первые шесть младенцев были женского пола, из них четырем дочерям пришлось постричься в монахини (они избрали наилучшую долю), а ему требовался сын, дабы продлить в веках имя и фа-

мильный, хоть и не дворянский, герб Резо. Итак, мой отец родился седьмым и наречен был при крещении именем апостола Иакова Младшего (того самого, день которого празднуется за компанию со св. Филиппом). И эта дурная компания несколько подмочила его репутацию.[5] И мой достопочтенный дед, после рождения долгожданного наследника, решил не умирать, пока не сотворит со своей женой Марией, то есть с моей бабушкой, еще четверых детей, и, таким образом, он удостоился высокой чести преподнести в дар господу богу будущего каноника в лице Мишеля Резо, своего последыша и любимца, ныне ставшего папским протонотарием… *Аминь*.

Итак, по воле случая, всемогущего случая, по прихоти которого один родился принцем королевской крови, а другой земляным червем и по милости которого какому-нибудь удачнику выпадет выигрыш из двух миллиардов билетов социальной лотереи, по воле этого случая я родился в семействе Резо на последней отдаленной ветви истощенного генеалогического древа, бесплодной смоковницы, посаженной в оскудевших

[5] Примечания: 5

Намек на Филиппа Петена, главу коллаборационистского правительства в период фашистской оккупации.

кущах христианской веры. По воле случая у меня оказалась мать…

Но не будем забегать вперед. Знайте только, что в 1913 году мой отец, Жак Резо, доктор права, преподаватель Католического университета (должность неприбыльная, как и следовало ожидать), женился на очень богатой мадемуазель Поль Плювиньек, внучке банкира Плювиньека, дочери сенатора Плювиньека, сестре лейтенанта Плювиньека, офицера кирасирского полка, павшего на поле брани (что увеличило ее надежды на наследство). У нее было триста тысяч франков приданого. Триста тысяч франков золотом! Она воспитывалась в пансионе города Ванн, проводя там даже каникулы, и, как только окончила курс наук, родители, слишком занятые светской жизнью и политической деятельностью, не желая заниматься этой скрытной девочкой, выдали ее за первого попавшегося жениха. Ничего больше я не знаю о ее молодости, которая ничуть не оправдывает нашу молодость. Отец мой любил подругу юности, молоденькую протестантку, но академик Рене Резо бдел, и отец женился на большом приданом, которое позволило ему жить по-кня-

жески до того дня, когда господин Пуанкаре[6] произвел девальвацию. От этого супружеского союза, ставшего для Резо необходимым ввиду их бедности, родились один за другим три сына: Фердинан, которого называйте Фреди или Рохля, Жан, то есть я сам — меня именуйте как угодно, но если кто посмеет воскресить мое прозвище Хватай-Глотай, тот получит по морде; наконец, Марсель по кличке Кропетт. За сим, как мне говорили, последовало несколько выкидышей, я думаю об этих недоношенных Резо с некоторой завистью, ибо им посчастливилось остаться в стадии зародышей.

В лето от Рождества Христова 1922-е, когда я задушил гадюку, нас с Фреди доверили попечению нашей бабушки. «Доверили» — тут скорее эвфемизм. Энергичное вмешательство старухи — бабушки, которую нам не разрешалось называть «бабуся», хотя сердце ее было достойно этого плебейского ласково-уменьшительного имени, спасло нас от мучений, оставшихся для нас неведомыми, но, несомненно, жестоких. Я

[6] Примечания: 6

*Пуанкаре Раймон (1860–1934) — президент Франции с 1913 по 1920 гг., проводивший жесткую милитаристскую политику. Один из организаторов интервенции в период Гражданской войны в Советскую Россию.

представляю себе бутылочки с молоком, разбавленным грязной водой, сопревшие мокрые тюфячки и истошные вопли младенцев, которых никто не укачивает… Ничего в точности я не знаю. Но у молодой матери не отнимают детей без серьезных оснований.

Наш младший брат Марсель не входил в число питомцев бабушки. Он родился в китайском городе Шанхае, куда мсье Резо по его ходатайству назначили профессором международного права в Католическом университете общества «Аврора».

В разлуке с родителями мы познали недолгое счастье, иногда нарушаемое карами в виде лишения сладкого, шлепков и приобщением к суровым мистическим порывам.

Да, должен откровенно признаться, что с четырехлетнего до восьмилетнего возраста я был святым. Нельзя безнаказанно жить в преддверии неба, в обществе чахоточного аббата, освобожденного по состоянию здоровья от обязанностей священнослужителя, в соседстве с писателем, понаторевшим в душеспасительных сочинениях, и бабушки, старухи, умилительно строгой по части Священного писания, да еще целой кучи кузенов и тетушек, более или менее причастных к какому-нибудь монашескому ордену, ничего

не смыслящих в математике, но чрезвычайно сведущих в двойной бухгалтерии отпущения грехов (откроем кредит душам, пребывающим в чистилище, дабы сии вновь избранные занесли моления наши в свой дебет и заплатили нам предстательством за нас перед богом).

Я был святым! Мне крепко запомнилась некая тесемочка… Что ж, я не побоюсь выставить себя в смешном виде. Надо же вам вдохнуть благоухание моей святости, которой, однако, мне не довелось сохранить до гробовой доски.

Этой тесемочкой была перевязана коробка шоколада. Шоколад, надо полагать, не был отравлен, хотя его прислала мадам Плювиньек — кажется, следовало сказать «бабушка», — все еще красивая дама, супруга сенатора из Морбиана. Шоколад посылался по этикету родственных чувств трижды в год: на Новый год, на Пасху и каждому из нас на именины. Мне разрешалось съедать по две шоколадки в день — одну утром, другую вечером, и предварительно полагалось перекреститься.

Не помню в точности, какое я совершил прегрешение: может быть, съел лишнюю конфетку, воспользовавшись рассеянностью мадемуазель Эрнестины, а возможно, в спешке перекрестился небрежно — помахал рукой, словно отгоняя мух,

за что меня всегда с негодованием распекали:

— Это ведь не крестное знамение, а кривляние, Хватай-Глотай!..

...Не помню точно, помню лишь, какое меня охватило раскаяние и сокрушение. И вечером, у себя в спальне («Хвалебное» было столь обширно, что у каждого из детей с самого нежного возраста была своя спальня. Это полезно во многих отношениях. И потом, это приучает малышей не бояться темноты)... так вот, вечером в спальне я решил, что должен действовать в полном согласии с Иоанном Крестителем (святой, именем коего меня нарекли, состоял моим ангелом-хранителем и до некоторой степени слугой, как и подобает ангелу-хранителю юного отпрыска семейства Резо, которому не пристало одному нести малое бремя своих грехов)... Итак, вечером, в своей спальне, я решил наложить на себя епитимью. Тесемочка от коробки шоколада «Маркиза», плоская и довольно жесткая тесемочка, вдохновила меня на муки, несомненно угодные господу богу. Я препоясался ею и затянул так туго, что мне стало действительно больно. Я стягивал ее так же, как стискивал гадюку: сперва весьма решительно, затем, минуты через три, с меньшим энтузиазмом, а в конце концов с сожа-

лением. Я никогда не был неженкой: меня просто не научили им быть. Но есть предел терпению ребенка, и он не очень велик, в особенности когда за плечами у него только шестилетний опыт страданий. Я перестал стягивать тесемочку под тем предлогом, что она может лопнуть. Нельзя же было свести на нет свою жертву.

А главное, не следовало уничтожать ее следов — ведь утром мадемуазель Эрнестина, несомненно, придет меня будить, приговаривая, как каждую субботу:

— Ну скорей, скорей вставайте, лентяй!.. Возблагодарим господа, ниспославшего нам еще один день, дабы мы послужили Всевышнему… Пора менять белье. «Во имя отца и сына…» Постарайтесь рубашку не пачкать, в клозете ведите себя поаккуратнее. «Отче наш, иже еси на небеси…»

Достославная суббота! Мадемуазель Эрнестина сразу заметит тесемочку. Я заснул, не подозревая, что в простоте душевной совершил тяжкий грех, впав в сатанинскую гордыню.

Но на следующее утро мадемуазель Эрнестина об этом даже не догадалась.

— Ах, — воскликнула она, — какой несносный мальчишка!

Затем, спохватившись, посмотрела на меня с

некоторым уважением и добавила:

— Жан, господь бог не позволяет человеку шутить со своим здоровьем. Я обязана немедленно обо всем доложить вашей бабушке.

Я упивался ее словами, но, разумеется, разыгрывал целомудренное отчаяние поруганной души. Пять минут спустя бабушка в старинной шали с бахромой, накинутой на капот, склонилась надо мной, осыпая меня упреками. Но тон ее совсем не был строгим, да и взгляд светился боязливой гордостью. Своими длинными тонкими пальцами детской романистки (ведь она тоже писала нравоучительные романы) бабушка с нежностью провела по красной полоске — этому красноречивому стигмату моего мученичества, все еще опоясывающему меня.

— Обещай, миленький Жан, что не будешь больше подвергать себя истязаниям, не сказавшись мне.

В то утро она не назвала меня Хватай-Глотай. Я обещал. Бабушка вышла из комнаты, покачивая головой так же, как и мадемуазель Эрнестина; обе они были неспособны покарать маленького святого. Слух у меня довольно хороший, и я расслышал, какие наставления давала за дверью бабушка:

— Следите повнимательнее за мальчиком, мадемуазель. Я за него тревожусь, но должна сознаться, что он внушает мне и большие надежды.

III

Протонотарий, гувернантка, старые слуги, осень в «Хвалебном», зима в Анже, бабушкин шиньон, двадцать четыре различные молитвы в течение дня, торжественные визиты академика, школьники, почтительно снимавшие береты при встрече с нами, кюре, являвшийся к нам домой за пожертвованиями на благолепие храма и к празднику св. Петра и за взносами в фонд распространения христианского вероучения, бабушкино серое платье, сладкие пироги со сливами, песенки Ботреля под аккомпанемент разбитого фортепьяно, дожди, живые изгороди и птичьи гнезда в живых изгородях, праздник Тела господня, первое причастие в домовой часовне, первое торжественное причастие Фреди, молитвенник в его руках, тот самый, по которому читал молитвы наш отец, а до него — дед Фердинан, а до него прадед, тоже носивший имя Фердинан; каштаны в цвету…

Потом бабушка вдруг умерла.

В три дня ее унесла уремия — фамильный недуг, болезнь людей образованных, как будто

природа мстит тем, кто не изгоняет из своего организма мочевину трудовым потом. Эта знатная дама, и вместе с тем добрая женщина (мое сердце не забыло ее), сумела умереть с достоинством. Решительно отказавшись от зондов и прочего отвратительного ухода, который продлил бы на несколько дней ее жизнь, она потребовала к себе сына-аббата, дочь, графиню Бартоломи, проживавшую в Сегре, и сказала им:

— Я хочу умереть прилично. Я знаю, что пришел мой конец. Не возражайте. Велите горничной достать пару вышитых простынь с четвертой полки бельевого шкафа — того, что стоит в передней. Когда она оправит постель, приведите ко мне внуков.

Так и было сделано. Бабушка сидела, опершись на подушки. Казалось, что она не страдает, хотя впоследствии я узнал, что смерть от этого недуга одна из самых мучительных. Ни тяжких вздохов, ни стонов. Нельзя, чтобы перед детьми предстало плачевное зрелище: пусть у них останется неизгладимое воспоминание о благородной агонии, изображаемой на лубочных картинках. Бабушка приказала нам стать на колени, с огромным трудом подняла правую руку и по очереди возложила ее на голову каждому из нас, начиная со

старшего внука.

— Да хранит вас бог, дети мои!

Вот и все. Она больше не надеялась на свои силы. Мы вышли, пятясь спиной, как с королевской аудиенции. И ныне, когда прошло уже более двадцати лет, я с глубоким душевным волнением думаю, что она была достойна этой чести. Бабушка! О, конечно, она не походила на обычных баловниц бабушек, щедрых на поцелуи и конфеты. Но никогда я не слышал более выразительного покашливания, которым она старалась сдержать свое умиление, когда мы бросались к ней на шею с ласками. Ни у кого не видел я такой величественной осанки, но, когда у кого-нибудь из нас температура повышалась до 37,5°, ее гордая голова поникала. Для той незнакомки, о которой в нашем доме никогда не говорили, но за которую молились два раза в день, наша седовласая бабушка, закалывавшая высокий шиньон черепаховым гребнем, всегда была и останется *предшественницей*, заклятым врагом, легендарным существом, которого нельзя ни в чем упрекнуть, у которого ничего нельзя отнять, и главное — его кончины.

Бабушка умерла. Появилась наша мать.

И вот идиллия становится драмой.

IV

«Мама» — кое-кто из наших маленьких родичей говорил «мама» с таким видом, будто сосал сладкий леденец, да и точно так же произносили это слово, говоря о бабушке, протонотарий и тетушка Тереза, и, хотя в устах мадемуазель Эрнестины оно превращалось в тяжеловесное «ваша матушка», а некоторые наши близкие произносили его весьма сдержанно, все же это слово ласкало наш слух.

— Почемуй-то она никогда не напишет?

— Во-первых, следует говорить — почему она никогда не пишет. А во-вторых, вы несправедливы, Фреди. Ваша матушка прислала вам письмо к Рождеству. Да и не забудьте, Китай — это очень далеко.

Нет, «наша матушка» не писала нам. Они, я хочу сказать — мои родители, мсье и мадам Резо, прислали просто-напросто поздравительную открытку с готовым текстом, напечатанным по-английски: «We wish you a merry Christmas».[7] Ниже две подписи. Первая — каракулями: Резо

---

[7] Примечания: 7
Желаем вам счастливого Рождества (англ.).

(наследник родового имени и герба ставит только фамилию). А вторая — клинообразная подпись гласила: Резо-Плювиньек. Обе подписи были подчеркнуты жирной чертой. Адрес был напечатан на машинке; вероятно, печатал Ли Фа Хонг, секретарь, которого мы представляли себе с длинной прекрасной косой, извивающейся по спине, и с семью языками во рту, дабы уметь хранить молчание.

Китай — это очень далеко. Но кажется, я в детском возрасте и мысли не допускал, что материнское сердце может быть еще дальше, нежели Шанхай. Мама! Мадам Ладур, наша соседка, мать шестерых детей, понятия не имевшая о положении дел, еще подогрела наше воображение:

— Мама! Это даже лучше, чем бабушка!

Ну еще бы! Мы сразу в этом убедимся!

Супругов Резо вызвали телеграммой, но они приехали только через восемь месяцев. Отряд наших дядюшек и тетушек, поредевший по причине брачных союзов или вступления на духовное поприще, не мог заменить умершую бабушку. Протонотарий выпросил себе назначение в Тунис, где климат мог доконать последние палочки Коха в его легких. Мадемуазель Эрнестина Лион не желала брать на себя тяжелую ответствен-

ность за наше воспитание. А кроме того, было еще «Хвалебное», прежнее майоратное владение, и надо было спасать его от налогового ведомства, претензий по закладным и от разделов по республиканским порядкам наследования.

Как-то к вечеру нас выстроили на перроне вокзала в Сегре. Мы были чрезвычайно возбуждены, верховная жрица, тетушка Бартоломи, и гувернантка с трудом нас сдерживали. Я прекрасно помню, как они перешептывались и тревожно вздыхали.

Поезд с громко пыхтевшим паровозом, похожим на большого тюленя — такие паровозы можно видеть только на узкоколейках, — опоздал на десять минут; ожидание казалось нам невыносимым, но вскоре мы пожалели, что оно не продлилось целую вечность. Волей всемогущего случая вагон, в котором ехали наши родители, остановился как раз перед нами. Появившиеся в окне густые усы, а по соседству с ними шляпка в форме колпака для сыра (модный в те годы фасон) побудили мадемуазель Эрнестину подвергнуть нас последнему осмотру:

— Фреди, выньте руки из карманов! Хватай-Глотай, держитесь прямо!

Но окно опустилось. Из-под шляпки в форме

колпака для сыра раздался голос:

— Возьмите багаж, мадемуазель!

Эрнестина Лион покраснела и возмущенно зашептала на ухо графине Бартоломи:

— Мадам Резо принимает меня за горничную.

И все же она выполнила приказание. Наша мать удовлетворенно ухмыльнулась, обнажив два золотых зуба, и мы, в простоте душевной приняв эту усмешку за материнскую улыбку, в восторге бросились к вагонной дверце.

— Дайте же мне сойти, слышите?

Оторваться от нее в эту минуту было в наших глазах просто кощунством. Мадам Резо, вероятно, поняла наши чувства и, желая пресечь дальнейшие излияния, взмахнула своими руками в черных перчатках — направо, налево, и мы очутились на земле, получив по оплеухе, причем сила и точность удара свидетельствовали о долгой тренировке.

— Ох! — вырвалось у тетушки Терезы.

— Что вы говорите, дорогая? — осведомилась наша матушка.

Никто и бровью не повел. Мы с Фреди рыдали.

— Так вот как вы радуетесь моему возвращению! — заговорила мадам Резо. — Что ж, прекрасное начало! Какое, хотела бы я знать,

представление о нас внушила детям ваша покойная матушка?

Конец этой тирады был обращен к мужчине скучающего вида, и таким образом мы узнали, что это наш отец. У него был длинный нос и ботинки на пуговицах. Тяжелая шуба с воротником из выдры сковывала его движения, и он с трудом тащил два больших желтых чемодана с пестрыми наклейками — лестным свидетельством путешествий во многие страны.

— Ну что же вы, поднимайтесь, — сказал он глухим голосом, словно процеживая слова сквозь густые усы. — Вы даже не поздоровались с Марселем.

Где же он, наш младший братишка? Пока взрослые, уже не обращая на нас внимания, учтиво приветствовали друг друга (о, не слишком горячо!), мы отправились на поиски Марселя и обнаружили его за чемоданом какого-то пассажира.

— Вы мои братья? — осторожно справился сей молодой человек, уже в те годы не отличавшийся словоохотливостью.

Фреди протянул ему руку, но Марсель не пожал ее. Косясь в сторону мамаши, он заметил, что она за ним наблюдает. В то же мгновение она

крикнула:

— Дети, возьмите по чемодану!

Мне достался чемодан слишком тяжелый для восьмилетнего ребенка. Удар маминого каблука по моей ноге придал мне силы.

— Ну, вот видишь, ты же можешь его нести, Хватай-Глотай!

Мое прозвище прозвучало в ее устах нестерпимой насмешкой. Шествие тронулось. Фреди покосился на меня и потрогал пальцем кончик своего носа, что означало сигнал бедствия. Я хорошо расслышал, как мадемуазель Эрнестина Лион тут же доложила тетушке Терезе:

— Без конца подают друг другу знаки!

Это, во-первых, доказывало, что смысл этого сверхсекретного сигнала ей давно известен, а во-вторых, что она знает, какую загадку нам предстоит еще долго разгадывать в пронзительном взгляде женщины, которую нам уже расхотелось называть мамой.

V

Итак, мы собрались все вместе, все пятеро, — собрались для того, чтобы сыграть первый эпизод фильма с претензиями на трагедию, его можно было бы назвать «Атриды во фланелевых жилетах».

Нас пятеро, мы главные действующие лица, и надо сказать, что мы хорошо сыграли свои роли — ведь половинчатых характеров в семействе Резо не бывает. Пять главных персонажей и несколько статистов, обычно тут же отпадавших из-за недостатка кислорода человеческих чувств, в силу чего посторонние люди задыхались в атмосфере нашего клана.

Перечислим действующих лиц.

Во-первых, глава семьи, мало подходящий для этого положения, наш отец, Жак Резо. Если вам угодно будет перелистать «Определение характеров людей по их именам» (книжку, выпущенную каким-то «магом»), вы сможете убедиться, что в данном случае в ней дано совершенно правильное определение. «*Люди, носящие имя Жак*, — сказано там, — *слабохарактерны, вялы,*

мечтательны, непрактичны, обычно несчастны в семейной жизни и не умеют вести свои дела».

Сущность моего отца можно определить в двух словах — бездеятельный Резо. Остроумия больше, чем ума. Больше тонкости, чем глубины. Большая начитанность и поверхностные размышления. Большие познания, мало мыслей. Фанатичность убогих суждений иной раз заменяла ему волю. Короче, один из тех людей, которые никогда не бывают сами собой и всецело зависят от обстоятельств, — людей, сущность которых меняется на глазах, лишь только меняется окружающая обстановка, и которые, зная это, отчаянно цепляются за привычную обстановку. Внешне папа был неказист — низкорослый, узкогрудый, немножко сутулый, как будто его тянула к земле тяжесть собственных усов. Ко времени нашей с ним встречи у него еще не было седины, но он уже начал лысеть. Он вечно жаловался, страдал мигренями и постоянно глотал аспирин.

В то время мадам Резо исполнилось тридцать пять лет, она была на десять лет моложе отца и на два сантиметра выше его. Напоминаю, что происходила она из рода Плювиньеков, весьма богатого, но не старинного… Выйдя замуж, она стала настоящей Резо и держала себя высоко-

мерно. Сто раз я слышал, что она была красива. Хотите — верьте, хотите — нет, но у нее были большие уши, сухие, рассыпающиеся волосы, тонкие поджатые губы, тяжелая нижняя челюсть, по поводу которой наш острослов Фреди говорил:

— Как только она откроет рот, мне сразу кажется, что она дает мне пинка в зад. Не удивительно при этаком-то подбородочке!

Кроме нашего воспитания, у мадам Резо оказалась еще одна страсть: собирание марок. А кроме собственных детей, у нее было только два врага — моль и шпинат. Больше ничего к этому портрету не могу прибавить, разве только что у нее были большие ноги и большие руки, которыми она прекрасно умела пользоваться. Количество килограммометров, израсходованных ее конечностями на мои щеки и зад, представляет собой интересную проблему бесполезной траты энергии.

Справедливости ради добавлю, что и Фреди заслуженно получал свою долю. Будущий глава нашего рода унаследовал от отца все его качества. Рохля — этим все сказано. Таким он и будет всю жизнь. Свойственная ему сила инерции была пропорциональна количеству ударов и злобных окриков. Не забудем, что в раннем детстве у Фре-

ди скривился нос из-за плачевной привычки, сморкаясь, вытирать его в одну сторону — справа налево.

Что касается Марселя, почему-то прозванного Кропеттом (происхождение прозвища туманно), я не хочу говорить о нем плохо. А то могут подумать, что я все еще ему завидую. Стопроцентный Плювиньек, а следовательно, прирожденный финансист, он не любил тесную одежду и обувь, был ученик не способный, но прилежный, обладал характером холодным, упорным, себялюбивым и глубоко лицемерным… Остановлюсь, а то я, пожалуй, не сдержу своего слова. Отличительные приметы спереди — хохолок прямо над самой серединой лба и большие навыкате глаза, такие близорукие, что, уронив очки, он с трудом их находил. Отличительные приметы с тыла: вихляющая походка и вислый зад. В детстве всегда казалось, что он наделал в штанишки.

Остается пятая карта нашего злополучного покера. Откроем ее. В комбинации из трех братьев я являюсь валетом пик.

Исповедоваться я не собираюсь. Вам достаточно знать, что меня не напрасно прозвали Хватай-Глотай, согласно фамильному и весьма неприятному обычаю, который роднит нас со

знатными семьями Древнего Рима, где прозвища были обязательны. Озорник, сорвиголова, бунтарь, забияка, плутишка-воришка, «дрянной мальчик с золотым сердцем». Черноволосый, толстощекий до двенадцати лет, ненавидевший свои пухлые щеки, навлекавшие на меня материнские оплеухи. Рос я плохо, пока мне не вырезали гланды. К несчастью, те же уши, те же волосы, тот же подбородок, что у нашей матушки. Но я весьма гордился своими зубами, крепкими, как у всех Резо, единственное, что у них было здоровое и крепкое и что позволяло им обходиться без щипцов для орехов. Жадный до всего на свете, а больше всего жаждущий жизни. Очень занят собственной особой. Занят не меньше и другими людьми, но при том условии, чтобы у них хватало ума отводить мне не последнее место в своей жизни. Преисполнен почтения к незаурядному уму, будь то друзья или враги, и даже отдаю некоторое предпочтение врагам; одна бровь у меня выше другой, и я хмурю ее только в честь недругов.

Итак, на домашней сцене в «Хвалебном» выступают пять действующих лиц (включая и меня). Зрелище неповторимое! После возвращения родителей дом в Анже был продан. Отец решил круглый год жить в деревне и вышел в

отставку, отказавшись от должности преподавателя Католического университета. Предлогом послужила малярия. В сущности, ему просто не терпелось объединить под своим вялым скипетром фамильные угодья и бесславно царствовать там, рассеивая скуку генеалогическими изысканиями и особенно энтомологией (он изучал разновидность мух — сирфидов). Папа был одним из крупнейших в мире сирфидологов. Правда, на всем земном шаре этих знатоков двукрылых насекомых насчитывается не больше сотни. В знаменитых желтых чемоданах, которые он тащил, сойдя с поезда, хранились драгоценные прототипы (для невежд поясню, что словом «прототип» обозначаются впервые найденные и описанные образцы, занесенные в каталоги специалистов). Отец хорошо поработал в Китае. Он привез оттуда пятьдесят новых видов. Это была его гордость, дело его жизни. Не удивительно, что, переехав в «Хвалебное», он прежде всего устроил на чердаке в правом крыле дома свой личный музей и только после этого проявил заботу о детях: нанял для них наставника.

И вот на сцене появляется шестое действующее лицо, правда эпизодическое, но важное, так как в этой роли будут выступать сменяющие друг друга

актеры, все, однако, одетые в обезличивающую форму — сутану.

Первый из наших наставников носил белую сутану. Преподобный отец Трюбель действительно принадлежал к миссионерскому ордену «Белых отцов», проповедующих среди чернокожих и почитающих великим человеком кардинала Лавижери, первого примаса Африки, первого архиепископа Карфагенского (после завоевания этих руин). Отец Трюбель утверждал, что расстаться с Африкой его заставила болезнь печени. Позднее мы узнали, что он был исключен из ордена «Белых отцов» за то, что чересчур пламенно проповедовал Евангелие молодым негритянкам. Но когда он приехал к нам, то произвел на всех впечатление внушительное: на цепочке от часов, болтающейся ниже креста, у него висели в качестве брелоков три львиных когтя.

Только Альфонсина (сокращенно Фина) нашла в нем нечто подозрительное. Священник в белой сутане — где это видано! Она усмотрела тут посягательство на права его святейшества Пия XI, восседавшего тогда на папском престоле. Но оказывается, я незаметно вывел на сцену седьмое действующее лицо, которое до сих пор оставлял в тени, — старуху Фину, хотя она вовсе

не годилась в актрисы. В оправдание ее скажем, что она была глухонемая и уже лет тридцать состояла служанкой в доме Резо — срок более чем достаточный для того, чтобы довести до отупения даже нормальное существо. К нашей матери она перешла по наследству от бабушки, которая платила этой несчастной пятьдесят франков в месяц. Вопреки всем девальвациям ей пришлось остаться при этом жалованье, зато ей присвоили множество званий: она была и горничной, и бельевщицей, и нянькой, и полотером, хотя нанималась всего только кухаркой. Мадам Резо находила, что покойная свекровь поставила дом на слишком широкую ногу, что это ей теперь не по средствам, и уволила одного за другим всех слуг. Фина, которая по своему увечью находилась в полной власти хозяйки, вынуждена была безропотно нести все возраставшие обязанности, но стала питать к мадам Резо почтительную враждебность, иногда приносившую нам пользу, и выражала это чувство «на финском языке» (еще одна острота Фреди), который понимали только в «Хвалебном»: говоря на нем, приходилось пускать в ход пальцы, брови, плечи, ноги, а иной раз даже издавать дикие звуки.

Перечислим теперь наших «крепостных».

Во-первых, папаша Перро («папашами», как правило, называют в Кранэ всех мужчин, даже холостяков, старше сорока лет, если эти люди от рождения не имеют права на почетное наименование «господин». Это обращение употребляется официально даже с церковной кафедры). «Волшебные сказки» Перро (понимайте под этим охотничьи рассказы, вернее — истории о браконьерских похождениях) были одной из редких радостей, услаждавших мое детство. Папаша Перро состоял у нас в «Хвалебном» садовником и полевым сторожем; он держал также бакалейную лавчонку в городке Соледо.

Затем следовал Барбеливьенский клан: отец — Жан Барбеливьен, последний галл, арендовал ферму, прилегавшую к нашей усадьбе; его жена Бертина мастерски орудовала вальком, полоща белье на речке, и мастерски сбивала масло (в наших краях масло сбивают в высоких кадочках с отверстием в крышке, где неутомимо движется нечто вроде деревянного поршня); дочка Бертинета с кривой шеей; сын, Жан-младший, по заслугам получивший кличку Разоритель Гнезд.

Затем семейство Гюо, арендовавшее ферму «Ивняки», обремененное многочисленными дочерьми, из которых одна, в годы моей юности,

не была ко мне жестокой. Семейство Аржье, арендовавшее у нас ферму «Бертоньер», большие любители карпов, которых они тайком ловили ночью в нашем пруду при помощи вершей и даже бредня.

Наконец, тетушка Жанни, так и унесшая с собой в могилу секрет изготовления необычайно вкусного сыра в плетеных камышовых корзинах; папаша Симон, ее муж, который пас в овражках четырех пегих коров; кюре Летандар, его причт, торговец кроличьими шкурками и три сотни крестьян, регулярно ходивших по воскресеньям к мессе, — три сотни крестьян, которых мы так же плохо различали, как ворон в большой стае, но они, кажется, знали нас и при встречах с раболепной почтительностью кланялись нам: «Здравствуйте, барчук!»

VI

27 ноября 1924 года нам были дарованы законы.

Пробегая по коридорам, Кропетт, герольд нашей матушки, орал во все горло:

— Все идите вниз, в столовую!

Вдобавок к призыву зазвонил колокол.

— Что им понадобилось? У нас перемена, — проворчал Фреди и сердито высморкался, загибая нос на левую сторону.

Но никто бы не дерзнул заставить мадам Резо ждать. Мы вмиг скатились по перилам лестницы. В столовой уже собрался ареопаг в полном составе. Папа восседал в центре, по правую руку от него — наша матушка, а по левую преподобный отец Трюбель, покуривавший трубку. На конце стола сидела, держась неестественно прямо, мадемуазель Эрнестина Лион. А на другом конце — Альфонсина.

— Ну-ка, вы, двое, усаживайтесь поживей! — взвизгнула мадам Резо.

Папа торжественно простер руку и пошел отчеканивать заученный урок:

— Дети! Мы позвали вас для того, чтобы сообщить принятые нами решения относительно организации и расписания ваших занятий. Период устройства на новом месте закончился. Теперь мы требуем от вас порядка.

Он перевел дыхание, и мать, воспользовавшись паузой, прикрикнула на нас, хотя мы и без того испуганно молчали:

— Не смейте болтать!

— Вы будете ежедневно вставать в пять часов утра, — продолжал отец свою речь. — Как только встанете, сейчас же оправите постель, умоетесь, а вслед за сим все пойдете в часовню на мессу, которую будет служить отец Трюбель; обязанности причетника придется исполнять вам по очереди. Вознеся молитву богу, вы сядете за уроки в бывшей спальне моей сестры Габриель — мы предназначаем ее для классной комнаты, так как она находится рядом со спальней отца Трюбеля, что облегчит ему надзор за вами. В восемь часов утра — завтрак…

— Кстати сказать, — прервала его матушка, обращаясь к мадемуазель Лион, — я требую, чтобы детям больше не давали кофе с молоком, а кормили их супом — это гораздо полезнее. Можете давать немножко молока Марселю, так как у него

энтерит.

— После первого завтрака получасовой отдых…

— Конечно, в молчании, — снова прервала его мать.

— Ваша мама хочет сказать: на перемене нельзя шуметь, чтобы ее не разбудить, — со вздохом сказал мсье Резо. — В девять часов занятия возобновляются: будете отвечать выученные уроки, писать диктовки, решать задачи; после десяти часов — перемена на четверть часа и снова занятия до второго завтрака. При первом ударе колокола вы идете мыть руки, при втором ударе войдете в столовую.

Мсье Резо с довольным видом стал подкручивать свои усы, устремив пристальный взгляд на хризантемы, стоявшие в большой плетеной корзине посреди стола. Вдруг он резко взмахнул рукой и, поймав жука, со всех сторон оглядел его:

— Любопытно! Каким образом, спрашивается, эта Polyphena очутилась здесь? Вот удача!

Он порылся в одном из четырех карманов своей жилетки и достал пузырек, на дне которого лежал порошок цианистого калия. Мы уже хорошо знали эту скляночку. Мать насупилась, но ничего

не сказала. Она уважала науку. Пока Polyphena боролась со смертью, папа спокойно продолжал прерванную речь:

— После завтрака — перемена целый час, но наказанный лишается этого отдыха. Вы должны непременно играть на свежем воздухе, если только нет дождя.

— А если погода будет очень холодная? — осмелилась спросить мадемуазель Лион.

— Холод — лучшее средство закалки, — возразила мать. — Я стою за мужественное воспитание. Уверена, что Альфонсина придерживается моего мнения.

Различив свое имя по движению губ хозяйки, глухонемая на всякий случай отрицательно замотала головой.

— Вот видите, она тоже не хочет, чтобы их держали в вате.

Папа потерял терпение.

— Право, мы никогда не кончим, Поль, если все будут меня прерывать. Так на чем же я остановился?.. Ах да… я говорил, что в половине второго вы снова приметесь за работу. В четыре часа полдник. Предоставляю отцу Трюбелю заботу, как распределить ваше время до и после полдника. Когда зазвонит колокол к ужину, порядок тот же,

пожалуйте в умывальную мыть руки. За ужином разрешается говорить только по-английски. Когда вы попросите хлеба или вина…

— Воды, Жак!

— …ответа не будет, если свою просьбу вы выразите не на английском языке, то есть на языке лорда Дизраэли, который, впрочем, был евреем. Это лучший способ заинтересовать детей иностранными языками. В мое время наш наставник аббат Фер заставлял нас говорить по-латыни. У меня более современный метод. Тотчас после ужина вечерняя молитва в часовне, где соберутся все домашние. В половине десятого (самое позднее) вы должны быть в постели. Ну вот и все. Ухожу. Надо еще насадить мух на булавки.

Мадам Резо повернулась к гувернантке, а ее супруг, шаркая подошвами, вышел из комнаты.

— Мадемуазель, будьте любезны помогать теперь Альфонсине в бельевой. Ведь у вас стало меньше дела и больше свободного времени, так как с мальчиками занимается аббат.

Мадемуазель Лион ничего не ответила. Наша мать продолжала:

— К наставлениям отца я, как хозяйка дома, хочу прибавить некоторые свои указания. Прежде всего я запрещаю топить печки в ваших

спальням: у меня нет никакого желания, чтобы вас в одно прекрасное утро нашли мертвыми от угара. Прикажу также отобрать у вас подушки: от подушек дети становятся сутулыми. Стеганые перинки тоже ни к чему. Летом — пикейное одеяло, а зимой — два байковых, этого вполне достаточно. Запрещаю вам разговаривать за столом, можно только отвечать на вопросы старших. Держаться нужно прилично: не горбиться, локти прижать к туловищу, руки положить по обе стороны тарелки, головой не вертеть. Откидываться на спинку стула запрещается. Каждый сам будет убирать свою спальню. Я регулярно буду делать осмотр, и, если где-нибудь обнаружу паутину, пеняйте на себя! Наконец, я не желаю больше видеть у вас на головах какие-то цыганские лохмы. Отныне вас будут стричь под машинку нулевым номером. Так опрятнее.

— В колониях, — заметил отец Трюбель, вынув изо рта погасшую трубку, — обязательно бреют голову.

— Но ведь мы не в колониях, — расхрабрилась вдруг мадемуазель Лион. — В здешних краях холодно, а главное — сыро.

— Дети привыкнут, мадемуазель, — сухо оборвала ее мадам Резо. — Я нашла машинку, ею

стригли Кадишона, ослика, которого моя свекровь некогда запрягала в тележку, когда посылала за чем-нибудь в соседнюю деревню. Я сама остригу детей.

Сумерки сгущались. Мамаша быстро провела рукой по глазам слева направо, что означало на «финском языке» — зажгите лампу. Она быстро усваивала иностранные языки. Фина зажгла парадную керосиновую лампу на подставке зеленого мрамора, потом замахала левой рукой (общий смысл этого жеста «скорее» или «дело спешное»), потом правой рукой показала на дверь, ведущую в кухню (в данном случае это означало: «Мне срочно надо идти»). Мадам Резо правильно расшифровала эту пантомиму и, производя перевод на «финский язык», захлопала в ладоши, как будто аплодируя ей («Можете идти»).

— Вы, дети, тоже можете идти, — возгласил отец Трюбель.

— Да поживее, — добавила мать и, все еще под впечатлением «финского языка», энергично захлопала в ладоши.

VII

Даже к самым драконовским законам всегда можно приспособиться. Наша мать, которой по ее натуре очень подошла бы должность надзирательницы в женской каторжной тюрьме, взяла на себя обязанность следить за строжайшим выполнением своих предписаний и постепенно обогащала их новыми чрезвычайными декретами. Мы уже привыкли к духу недоверия, освященного религией подозрительности, которая окружает все действия христианина и подкапывается под каждое намерение этого потенциального грешника. Подозрение мадам Резо возвела в догмат. Ее запреты, усложненные многообразными толкованиями и вариантами, превратились в настоящую сеть заграждений из колючей проволоки. Зачастую ее приказы были противоречивы. Так, например, мы обязаны были до заутрени прибрать свои спальни. Чтобы опорожнить помойное ведро (канализации, конечно, в «Хвалебном» не было), нам приходилось добираться до отхожего места, устроенного в правой угловой башенке по соседству со спальней

родителей. И это в глубокой тьме, при тусклом свете керосинового ночника, да и его вскоре у нас отобрали. А ведь нам строго запрещалось пролить хотя бы каплю из ведра, запрещалось шуметь, чтобы не потревожить сон нашей августейшей матушки. Боясь наткнуться на что-нибудь во мраке и разлить неблаговонную жидкость, мы шли крадучись, прижимая к груди ведро, словно великомученик Тарцизиус бесценную дароносицу.

Вначале присутствие мадемуазель Лион избавляло нас от постоянных столкновений с матерью. При случае гувернантка защищала нас. Но очень скоро мадам Резо это заметила:

— Право, мадемуазель, вы всегда заступаетесь за этих хулиганов. Стоит мне отвернуться, как вы им во всем готовы уступить.

Отец Трюбель ни во что не вмешивался и спокойно покуривал трубку. Напрасно бедняжка Эрнестина пыталась склонить его на свою сторону.

— Голубушка, да поймите вы! Мы с вами долго здесь не засидимся. Пусть эта особа воспитывает своих детей, как ей угодно, это ее личное дело. Нам с вами платят, и, кстати сказать, плохо платят. Наше дело сторона. Мне не так-то легко найти новое место…

Случайно подслушав этот разговор, я понял, что за человек отец Трюбель. Но гувернантка не сдавалась; старая дева нас любила, как раз за это наша мать и ненавидела ее и, лишь опасаясь всеобщего осуждения, пока еще держала в доме. Кое-какие реформы, которые замыслила мадам Резо, можно было произвести только после увольнения Эрнестины. Поэтому мать искала любого предлога, чтобы изгнать ее.

Недомогание Фреди и оказалось таким предлогом. Ничего серьезного у него не было. Просто несварение желудка, вызванное красными бобами, которыми пичкала нас экономная мать. Однажды утром наш старший брат не смог подняться с постели, и мадемуазель Эрнестина предложила взять его к себе в комнату, так как у нее топилась печка. Мадам Резо не разрешила.

— Мальчишка ужасно избалован. Ему просто надо очистить желудок.

Как вы, конечно, догадались, ему закатили касторки, налили полную столовую ложку этой гадости и поднесли ко рту. Фреди отвернулся и осмелился сказать:

— А бабушка давала нам слабительный шоколад.

Мадам Резо стиснула зубы и вместо ответа с

такой силой сжала сыну нос, что он поневоле открыл рот, боясь задохнуться. Тотчас нежная мамаша воспользовалась этим и влила касторовое масло ему в глотку. Реакция последовала немедленно. В непреодолимом позыве Фреди все изрыгнул на материнский халат.

— Ах, мерзкий ребенок! — завопила она и со всего размаху дала ему звонкую пощечину.

Ни сердце, ни педагогические принципы дипломированной гувернантки, мадемуазель Лион, не вынесли этого.

— Мадам Резо, — заявила она, — я не могу одобрить подобные методы!

Мадам Резо круто повернулась и прошипела:

— А я, милая, не одобряю ваших методов.

Мадемуазель Лион возмутилась:

— Вы забываетесь, мадам, я вам не горничная!

Но ее противнице было уже не до приличий:

— Мне все равно, кто вы такая. Я вам плачу за то, чтобы вы следили за моими детьми, а не за то, чтобы вы восстанавливали их против меня. Вы прекрасно усвоили уроки моей свекрови — уж кто-кто, а она умела внести раскол в семью. Если я ничего не добилась до сих пор от своих сыновей, то теперь мне понятно, кому я этим обязана!

— В таком случае, мадам, мне больше нечего

здесь делать!

— Как раз это я и собиралась вам сказать!

Мадемуазель удалилась, гордо подняв голову, а мадам Резо заставила Фреди проглотить не одну, а две ложки касторки.

Реформы продолжались.

Но на этот раз о них уже не объявлялось столь торжественно. Мать закручивала гайки, следуя собственному вдохновению. Утверждать свою власть с помощью все новых и новых придирок — вот что стало единственной отрадой мадам Резо. Она держала нас в постоянном тревожном напряжении, зорко следила за нами и умела испортить нам любое удовольствие.

В первую голову у нас отняли право прогулок (право «прошвырнуться», как говорил Фреди). Прежде нам разрешалось гулять по парку, правда при одном условии: не покидать его пределы и не переходить через дорогу, идущую вдоль ограды. Не успела мадемуазель Эрнестина уехать, как мадам Резо неожиданно разразилась потоком жалоб за завтраком, что было отнюдь не в ее правилах: обычно она предпочитала обрабатывать мужа в интимной обстановке.

— Жак, твои дети стали просто невыносимыми, особенно Хватай-Глотай. Я не могу допустить,

чтобы они носились повсюду, как жеребята, вырвавшиеся на волю. Того и гляди, попадут под автомобиль. Они никогда не возвращаются домой к назначенному часу. Не правда ли, отец Трюбель?

Отец Трюбель только крякнул, чуть не подавившись ложкой супа.

— Руки на стол, Хватай-Глотай! — закричала мадам Резо.

И за то, что я недостаточно быстро выполнил приказание, она ткнула меня вилкой в руку, оставив на ней четыре красных следа.

— Черенком, черенком, Поль! Этого вполне достаточно, — простонал отец и добавил: — Нельзя же мальчишек держать на привязи.

— Конечно, нет, но, по-моему, необходимо запретить им уходить за белую изгородь.

Таким образом, она отвела нам загон в триста квадратных метров.

— Вы не согласны, Жак?

Это «вы» заставило отца уступить. Он ответил ей тем же «вы», что, однако, означало у него не гнев, а усталость:

— Делайте, как находите нужным, дорогая.

— Mother, will you, please, give me some bread,[8] — просюсюкал Кропетт среди наступившей тишины.

Тогда матушка благосклонно протянула Кропетту его любимую горбушку.

Мадемуазель Лион пришлось уехать чуть ли не тайком, словно воровке. Нам не позволили с ней даже проститься, а на следующий день после ее отъезда мы получили «разрешение» чистить дорожки в парке.

— Вместо того чтобы тратить силы на глупые игры, вы будете развлекаться теперь полезным трудом. Пусть Кропетт собирает мусор граблями, а Фреди и Жан будут работать скребком.

Чистка аллей обратилась для нас в обязательную повинность, длившуюся долгие годы. Постепенно мы привыкли, но вначале были уязвлены до глубины души. Удивленные взгляды фермеров, их насмешливые улыбки были просто невыносимы. Мадлен из «Ивняков» увидела нас, возвращаясь из школы, и глазам своим не поверила.

— Вот оно как! Сами господа дорожки и тропки у себя в саду чистят!

---

[8] Примечания: 8
Мама, дайте мне, пожалуйста, хлеба (англ.).

— Мы же для удовольствия, разве не видишь? — храбро отпарировал Фреди.

И впрямь, удовольствие! Для того чтобы оно было еще полнее, мадам Резо усаживалась в десяти шагах от нас на складном стуле. Она, вероятно, краем уха слышала о «стахановском движении». Ее советы о наилучших способах выдергивать из земли одуванчики и наиболее эффективном методе орудования скребком подкреплялись затрещинами. Затем мы постигли искусство подстригать бордюр. Воздадим должное терпению мадам Резо — хоть она частенько дрожала на холодном ветру, но героически упорствовала в своих мелочных преследованиях.

А затем новое изобретение мадам Резо: деревянные башмаки.

Глинистая почва в Кранэ губительна для кожаной обуви. При бабушке мы носили летом кожаные башмаки с деревянными подошвами, а зимой — резиновые теплые сапожки. Но мадам Резо не пожелала тратиться на такую обувь и объявила ее вредной для здоровья.

— У вас перепреют все носки.

Папа сопротивлялся несколько недель. Ему неприятно было видеть, как его сыновей превращают в маленьких крепостных. Это нововведение

наносило удар его понятиям о чести. Но, как всегда, он уступил. Нам пришлось щеголять в сабо, которые мадам Резо заказала у деревенского башмачника. И хоть бы такого образца, какие носят фермерши, — относительно легкие и обтянутые кожей, — а то здоровенные, грубые сабо для работы в поле, выдолбленные из цельного куска бука и подбитые в шахматном порядке железными гвоздями. Пудовые башмаки, издалека извещавшие о нашем приближении, Марселю, как хрупкому ребенку, разрешалось надевать сабо на толстые носки. А для меня и Фреди считалось достаточным положить в башмаки соломы.

Через несколько дней был произведен повальный обыск в наших спальнях и в наших карманах. Последовало запрещение держать при себе больше четырех франков (эти деньги нам полагалось класть на тарелочку в церкви). Разумеется, мы никогда не получали ни гроша от родителей, но дядюшки и тетушки иной раз дарили нам несколько монет. Установленная бабушкой премия в два франка (за хорошее поведение) уже давно была отменена. Оставалось лишь рассчитывать на щедроты господ Плювиньеков.

Произведя реквизицию наших капиталов,

мамаша отобрала у нас также и все ценные вещи: серебряные бокальчики, подаренные на крестины, золотые цепочки с образками, авторучки, привезенные нам протонотарием, булавки для галстуков. Все исчезло в шкатулке для драгоценностей, которая хранилась в большом английском шифоньере, заменявшем мадам Резо сейф. Обратно мы свои сокровища так и не получили.

Кроме того, во все, даже самые безобидные, шкафы были врезаны замки. Связка ключей, снабженных ярлычками, висела в пресловутом шифоньере, о котором я упомянул, — он представлял собою «святая святых» нашего «Хвалебного». Главный ключ, защищавший все остальные, — ключ от английского шифоньера, хозяйка дома всегда держала у себя за пазухой. И Фреди придумал название такой политике — «ключемания».

К этому времени относится и мое увлечение излюбленным Людовиком XVI слесарным ремеслом — моя страсть к изготовлению отмычек. Утащив несколько старых ключей, я припрятал их для начала под плиткой пола в своей комнате и тайком с переменным успехом обтачивал их, чтобы отпирать кое-какие шкафы. Вначале просто из бахвальства. Мы еще не дошли до домашнего

воровства, но бодро вступали на этот путь.

Нам уже было голодно, нам уже становилось холодно. И мы с жадностью смотрели на приоткрытые дверцы шкафов, когда мать-скопидомка доставала оттуда белье или что-нибудь съестное. Мы выходили из себя, слыша, как она подзывает нашего «китайского» братца:

— Иди сюда, Кропетт. Целую неделю ты вел себя прилично. Получай-ка.

Обычно в награду выдавался какой-нибудь засохший пряник: скупердяйка не любила тратиться. Но эта неслыханная привилегия усугубляла самодовольство Кропетта, укрепляла его слащавую покорность, побуждала наушничать матери о наших мелких провинностях.

Кроме того, пряники были украдены у нас, мы хорошо это знали. Пряники присылала нам прабабушка Плювиньек из Дижона, где она в течение трех четвертей века постепенно угасала в среде местной буржуазии, так и не пожелав познакомиться с нами.

В самом деле, нам уже было голодно, нам уже было холодно. Физически. А главное — душевно. Да простят мне это выражение те, для кого оно имеет смысл. Стоило мадам Резо взять в свои руки бразды правления, и через год мы уже по-

теряли всякую веру в справедливость наших близких. Бабушка, протонотарий, гувернантка иной раз казались нам слишком строгими, но несправедливыми — никогда! Мы ни разу не усомнились в полной обоснованности установленных ими правил, если даже и старались при этом схитрить. За несколько месяцев мадам Резо удалось полностью уничтожить наше доверие к взрослым. Детские души подобны зеркалу, и им необходима амальгама уважения к взрослым. Самая продуманная система воспитания (придется употреблять эти громкие слова) кажется ребенку шаткой, если она не затрагивает в нем чувства сыновней почтительности. Но говорить о таких чувствах в нашем «Хвалебном» — сущее издевательство.

Вот почему эта пока еще холодная трагедия приняла комический оттенок, когда матери вздумалось стать нашим духовником.

Два раза в неделю отец устраивал для нас в часовне чтение душеспасительных книг. И вот однажды перед мадам Резо открылись новые горизонты.

— В наши дни существует исповедь только с глазу на глаз со священником. Но первые христиане исповедовались в своих грехах всенародно. В

некоторых монашеских орденах этот обычай сохранился и поныне, и монахи ежевечерне каются перед всеми братьями в своих грехах.

Какая замечательная уловка, чтобы ворваться с сапожищами в сокровенный мир наших прегрешений, больших и малых. На следующий вечер за ужином, когда уже была съедена неизменная красная фасоль и подали деревенский сыр, мать опустила глаза, и лицо ее стало вдохновенным. Простирая руки, словно призывая нас к молитве, и отбросив обязательный за трапезой язык еретиков, обитающих по ту сторону Ла-Манша, эта святая женщина отважилась произнести слова, которые до миллиграмма взвесила на ангельских весах:

— Жак, я много думала над той книгой, которую вы нам читали вчера. Я хочу сделать предложение. Конечно, оно могло бы показаться странным в любой семье, кроме нашей. Но, слава богу, мы-то можем только посмеяться над вольнодумцами и атеистами. Недаром же мы принадлежим к славному роду, который дал столько защитников веры, духовных писателей, священников и монахинь. А что мы сделали, чтобы стать достойными такой чести? Необходимо, чтобы наши дети получили возвышенное воспитание… поднялись

бы на вершины веры.

Пауза. Отец и глазом не моргнул: этот патетический язык был ему привычен. Святость — наследственное достояние Резо. Вера нашего отца не отличалась той силой, что движет горами, зато была тяжеловесной и громоздкой, как Монблан. Натренировать детей в мистическом альпинизме было для него весьма желательным.

— К чему ты клонишь, друг мой?

— Я хочу ввести ежедневные семейные исповеди. Я слышала, что у Кервадеков это уже давным-давно делается.

Непоколебимый аргумент! Во всей округе одни лишь Кервадеки могли соперничать в святости с семейством Резо. Ведь Кервадеки дали Франции кардинала.

Папа все еще колебался. Мать принялась за нашего наставника:

— Вы, конечно, согласны со мной, отец Трюбель?

По обязанности гувернера ему полагалось соглашаться с хозяевами. Он, однако, ограничился легким кивком головы.

— Хорошо! — сказал в заключение мсье Резо.

Еще никогда это расплывчатое наречие не казалось мне столь фальшивым. Через час после

вечерней молитвы произошел наш первый моральный стриптиз. До сих пор вспоминаю о нем с отвращением.

— Каюсь в том, — сказал Марсель, — что нынче после перемены я не перекрестился, когда сел готовить уроки. А еще я сказал Фине: «Ну и убирайся!» — потому что она не дала мне второй тартинки с вареньем. А еще я подставил ножку Фердинану за то, что он утащил у меня книгу «Пятнадцатилетний капитан» и не хотел отдавать.

— Какая восхитительная откровенность! — торжественно возгласила мать. — Идите с миром, Марсель! — добавила она, подчеркивая своим обращением на «вы», что находится при исполнении самых своих высоких обязанностей. — Идите с миром! Господь бог, а также ваш отец и я прощаем вас.

Что касается меня, то я молчал. Я онемел от этого публичного саморазоблачения.

— Отчего вы медлите? Что вы желаете скрыть, сын мой?

— Я, понятно, совершал грехи… только я уже не помню об них…

— Только я уже не помню их, — поправил отец Трюбель.

— Ну что же, помочь вам? — сухо сказала мадам Резо.

Все что угодно, только не это. И я в отчаянии пробарабанил весь перечень грехов, упомянутых в «Покаянной молитве»: нетерпение, чревоугодие (господи, поди согреши у нас чревоугодием!), леность, гордыня… весь список, который благодушно выслушивал по субботам на исповеди наш приходский священник в Соледо.

— Уточните, милый мой! — потребовала мать.

— Не лучше ли сегодня на этом кончить? — предложил отец Трюбель, за что я благодарен ему на веки вечные.

Фреди в свою очередь опустился на колени.

— Я сегодня хорошо себя вел, — объявил он. — Отец Трюбель даже обещал подарить мне львиный коготь, у меня два балла выше среднего…

— Гордец! — возопила мать. — А кто утащил книгу у младшего брата? На неделю лишаю вас права читать книги!

— Мадам Резо, — напомнил отец Трюбель, — вы забыли о тайне исповеди…

— Вот именно, исповеди! Ведь он же ни в чем не признался. Пусть зарубит себе на носу, что ему нет никакой выгоды скрывать свои грехи. А когда поймет хорошенько, то будет откровеннее.

Марсель тоже прекрасно это понял. Теперь его ежевечерние доносы матери стали излишними. С самым невинным видом он, под маской покаяния, мог каждый вечер при желании всадить нам в спину нож.

Фреди, страстный любитель чтения, был вне себя.

— Психичка! Кикимора! — твердил он, раздеваясь на ночь, выкрикивая эти бранные слова так громко, что они, наверное; слышны были за стеной.

И вдруг, сократив эту энергическую ругань, он по-своему окрестил нашу мать:

— Психимора! Поганая Психимора!

Отныне мы называли ее только этим именем.

VIII

Перро принюхивался, слюнил большой палец, чтобы определить направление ветра, — словом, браконьерствовал в пользу хозяина. Отец Трюбель, хоть и без ружья, имел весьма воинственный вид и бодро шагал, заткнув за пояс полы сутаны, так что видны были его короткие штаны из серого вельвета. Папа держал двустволку под мышкой, а через левое плечо у него был перекинут на ремешке разъемный сачок. Мы с Фреди и с Кропеттом колотили по кустам живой изгороди палками, вырезанными в каштановой роще. Восторг — безобразный ублюдок, помесь деревенской шавки и спаниеля, бегал вокруг нас, потряхивая длинными ушами, в которые впились белесые клещи. Вдруг он бросился в кусты.

— Не зевай! — крикнул Перро.

Первый заяц классическим прыжком выскочил из зеленых зарослей и помчался по полю, надеясь укрыться за кочнами капусты, но охотник спокойно целился и, пропустив его на положенное расстояние, нажал курок. Грянул выстрел, заяц перекувырнулся четыре раза в воздухе и пал

бездыханным меж двух кустиков сурепки.

Фреди кинулся его поднимать. Восторг прекрасно делал стойку, но плохо приносил дичь. Мсье Резо зарядил седьмым номером правый ствол своего старого дамасского ружья с узорной насечкой и важно сказал:

— Когда заяц выскочит у тебя из-под ног, стреляй не сразу, а выжди и цельсь между ушами.

Приняв добычу из рук моего брата, триумфатор уверенно нажал большим пальцем на живот убитого зайца, чтобы спустить у него мочу. Машинально он принялся насвистывать знаменитую песенку:

Я просил Марго-малютку
Дать мне прядку волосков,
Дать мне прядку волосков,
Чтоб связать пару носков.

Но тут же он вспомнил о присутствии лица духовного звания:

— Прошу прощения, господин аббат.

— Охотники — дело известное. А вот я другого не понимаю как вы ухитряетесь стрелять из этого старого громобоя, который не пригоден для бездымного пороха и дымит как паровоз?

Отец долго смотрел на свою двустволку и, вздохнув, сказал:

— Привык к нему. По правде сказать, я хотел было купить себе ружье по руке у Гастин-Ренета, но жена сочла это лишней тратой. А сама довольна, когда я приношу домой дичь.

Разумеется! От зайчатины у нас даже бывало расстройство желудка. Нет ничего отвратительнее рагу из зайца, когда оно становится ежедневной пищей, как хлеб насущный! Однако же охотничий сезон был нам очень дорог. Психимора никогда не отваживалась принимать участие в наших экспедициях: она слишком боялась за свои чулки, хотя с некоторых пор носила уже не шелковые, а нитяные. Сколько она ни изобретала предлогов, чтобы не пускать детей на охоту, ей не удавалось лишить нас этого удовольствия. Отцу нужны были загонщики.

В те дни мы, вероятно, представляли собой незабываемое зрелище. Так как в Кранском крае почти вся земля принадлежит помещикам, там сохранилось много дичи. К сожалению, пух преобладает над пером, ибо куропатки почти перевелись: они отравлялись мышьяковым месивом, которым защищали картофельные поля от колорадского жука. Коростели, вяхири, горли-

цы кишмя кишели в лесных угодьях. Из кустов живой изгороди то и дело выпрыгивали кролики. Иной раз можно было увидеть, как вдали трусит рысцой лиса, поджимая хвост и так съежившись, что только наметанный глаз мог отличить ее от больших деревенских котов, истребителей цыплят и птиц. (В наказание убийцам отец за сто метров от наших амбаров уничтожал всех котов без различия.)

Мы уже набили дичью ягдташи, на глазах вздувался и отцовский заплечный мешок, куда попали заяц, семь кроликов, две серые и две белые куропатки, коростель, четыре вяхиря. Да еще поймано было пять каких-то необыкновенных жуков.

В шесть часов вечера (если верить колокольне в Соледо), когда мы двинулись в обратный путь, дорогу у Шуанского креста быстро перебежала лиса. Ружье висело у отца за спиной. Он едва успел его снять и выстрелил наугад в гущу живой изгороди, куда юркнула лиса.

Мы извлекли ее оттуда мертвой.

— До чего же вы метко стреляете! — воскликнул преподобный отец Трюбель.

Предоставляю вашей фантазии нарисовать картину победоносного возвращения охотников. Мы

с Фреди шли впереди и тащили лису, подвесив ее за лапы к толстой палке, как негры носят убитого льва. Так посоветовал нам отец. Перро следовал за нами по пятам и, держа в каждой руке за уши двух самых крупных кроликов, раскачивал сию добычу в назидание окрестному населению. Шествие замыкал отец с рассеянно-небрежным видом, как и подобает триумфатору. Широкие сборчатые короткие штаны с разрезами, как на дамских панталонах прежних времен, немного сползли, а расстегнутый патронташ болтался на животе. Отец насвистывал последний куплет своей любимой песенки:

Вылезли все волосочки,
Не видать уж мне носочков,
И малюточка Марго
Далеко уже не то…

В таком виде мы и явились в «Хвалебное», четырехкратно осенив себя по дороге крестным знамением, — первый раз, когда проходили мимо каменного распятия, второй раз около статуи св. Иосифа под большим дубом, в третий раз перед св. Авантюреном возле Филиппова колодца, а последний раз, когда огибали часовню.

Но наши восторги остыли и рухнули окончательно, когда мы увидели на нижней ступеньке крыльца мадам Резо, суровую, застывшую как статуя воплощенное негодование.

— Вы что же, не слышали колокола?

— Какого колокола? — с самым невинным видом спросил отец.

Мадам Резо пожала плечами. Во всей округе есть один только колокол: наш.

— Я уже три раза велела звонить во всю мочь. К вам приехал граф Соледо. Вы знаете зачем… Речь идет о посте муниципального советника, который принадлежит вам по праву.

— Но я не хочу! — крикнул мсье Резо. — Вы же прекрасно знаете, что я не хочу!

— Это уж другой вопрос. Но я не могу себе представить, чтобы никто из вас не слышал колокола.

— Мы были далеко, за Орлиным логом, — дерзнул вмешаться я.

— А тебя, милый мой, не спрашивают! Я уверена, что вы нарочно старались отвлечь внимание отца. Следующий раз ты не пойдешь на охоту.

Но тут произошло из ряда вон выходящее событие. Великий охотник встал перед своей супругой и зарычал громовым голосом, так, что на шее у

него вздулись жилы:

— Хватит, Поль! Оставь нас в покое!

— Что вы сказали?..

Психимора остолбенела. Но отец уже себя не помнил. Этот флегматик даже побагровел от возмущения.

— Я сказал, что ты мне надоела. Оставь детей в покое и убирайся к себе в комнату!

Мы возликовали. Однако именно сама резкость этих слов, необычная для столь слабого существа и так приятно ласкавшая наш слух, все испортила. Психимора знала свое дело. Она не пошелохнулась, застыв в благородной позе оскорбленного достоинства.

— Жак, дорогой мой, разве можно так распускаться! Да еще при детях. Ты, вероятно, болен.

Мсье Резо уже раскаялся в своей вспышке. Желая спасти положение, он сердито приказал:

— Отнесите дичь на кухню. Я пойду переоденусь.

Он дал отбой, словно незадачливый полководец, не сумевший закрепить кратковременную победу. Психимора осталась хозяйкой положения, но у нее хватило такта отсрочить свою месть.

— Перро, что это за странный зверь?

— Лиса, хозяюшка, да еще красная.

— Не очень-то она велика!

Уязвленный Перро взметнул на хозяйку сердитый взгляд.

— А все-таки воротник вам выйдет неплохой, хозяюшка.

В глазах Психиморы мелькнул проблеск корысти, однако поблагодарить кого-либо за что-либо она была не в силах. Уже несколько месяцев она искала предлога выгнать Перро, своего садовника и полевого сторожа, решив возложить его обязанности на Барбеливьена. (И действительно, Перро был вскоре уволен.)

— Ну, довольно, дети, — сказала она бесстрастным тоном. — Идите мыть руки.

Однако это оказалось уловкой, ей хотелось избавиться от свидетелей. Вплоть до лестничной площадки она кое-как еще сдерживалась. Но тут уж на нас обрушилось все разом: тумаки, пинки, ругань. Первым попался ей под руку Кропетт, и, разъярившись, она не пощадила даже своего любимчика. Он хныкал, прикрывая руками голову:

— Мамочка, я же здесь ни при чем!..

Вот мерзавец, еще мамочкой ее называет! Психимора выпустила Кропетта и набросилась на нас. Заметьте, обычно она никогда не била нас,

не объяснив причину побоев. Но в тот вечер ей было не до объяснений. Она просто сводила с нами счеты. Фреди не сопротивлялся. Он умел каким-то особым приемом изнурять палача, ловко увертываясь от ударов, так, что они лишь слегка задевали цель. Зато я впервые дал Психиморе отпор: стукнул ее несколько раз каблуком по ногам и трижды ударил локтем в грудь, не вскормившую меня. Разумеется, я дорого поплатился за подобную дерзость. Оставив в покое моих братьев, укрывшихся под столом, она принялась за меня и молча лупила минут пятнадцать, пока не выбилась из сил. Я вернулся к себе в комнату весь в синяках, но не пролил ни одной слезинки. Как бы не так! Чувство гордости сторицей вознаграждало меня за перенесенное истязание.

За ужином папа не мог не заметить следов побоища. Он нахмурил брови, слегка покраснел. Но трусость взяла верх. Раз ребенок не жалуется, зачем поднимать шум? У него хватило мужества лишь на то, чтобы мне улыбнуться. Стиснув зубы, я пристально посмотрел ему прямо в лицо жестким взглядом. Он первый опустил глаза. А когда поднял их, я ответил ему улыбкой, и у него дрогнули усы.

IX

Дождь со снегом, гонимый мощными ударами ветра, непрестанно стегал Кранэ, с не меньшим упорством, чем Психимора, истязавшая нас. За окнами все зазеленело, речка Омэ разлилась и затопила на лугах кузнечиков. Вот уже два года — подумайте только, два года! — мы жили в позорном лицемерии, в рубище, без надежд и без волос, остриженных наголо. Вот уже два года преподобный отец Трюбель, щеголявший львиными когтями, дымя трубкой, набитой крепким табаком, обучал нас латыни и греческому.

Вопреки своему собственному предсказанию, он прижился в доме. Мамаша держала его сторону, несмотря на слабые педагогические способности святого отца и чрезмерное тяготение к крестьянским девушкам. Платили ему мало, обращались с ним бесцеремонно. При всех распрях он, подобно Понтию Пилату, умывал руки и предоставлял нашей властительнице полную свободу действий. Была, однако, и темная сторона в его спокойном житье-бытье: обладая тонким обонянием, он с отвращением вдыхал дурной

запах, исходивший от наших носков, которые мы меняли только раз в полтора месяца.

— Опять от вас воняет гнилой картошкой, — ворчал он.

Но всему приходит конец. В марте месяце, в годовщину убийства Юлия Цезаря, когда аббат Трюбель невнятно читал нам отрывок из «De Viris»,[9] в классную комнату неожиданно ворвался наш отец с взъерошенными усами.

— Аббат, — надменно произнес он, — мне надо с вами поговорить, пройдемте в другую комнату.

Немедленно три уха прильнули к двери.

— Пошла драчка! — ликовал Фреди.

И действительно, «драчка пошла».

— Аббат! — кричал мсье Резо. — Это уж слишком, вы позорите свой сан! Только что ко мне приходила тетушка Мелани из «Ивняков». Вы, оказывается, пристаете к ее старшей дочери. Теперь я начинаю догадываться, по какой причине вы были вынуждены покинуть монастырь. Я лишаю вас права воспитывать моих детей.

Пока в этом объяснении еще не хватало комической нотки.

---

[9] Примечания: 9

«De Viris illustribus urbis Romae» — учебник латинского языка, составленный аббатом Ш. Ф. Ломондом (около 1775 г.), где давался краткий курс римской истории.

— Я даже подозреваю, что вы были лишены сана, а следовательно, отправляемые вами службы не действительны!

По зычному хохоту отца Трюбеля мы догадались, что он наконец сбросил с себя маску. От этого гомерического хохота наверняка пообрывались мелкие пуговицы его сутаны и запрыгали на животе львиные когти, подвешенные к часовой цепочке в виде брелоков. Наконец раскаты смеха затихли, и мы услышали:

— Прекрасно, мсье, с удовольствием покину этот сумасшедший дом. Меня уже тошнит от ваших бобов и от смрадных носков ваших деток, этих вонючих зверенышей! Оставайтесь под ферулой Психиморы! Ах, вы не знаете, какое прозвище ваши сыновья дали…

Вторично раздалось грозное рычание отца:

— Заткнитесь и убирайтесь к дьяволу! Сейчас велю запрячь лошадь, и вы немедленно уедете!

Из комнаты аббата Трюбеля стремительно выбежал отец, весь багровый от гнева. Внезапно распахнувшаяся дверь опрокинула нас навзничь, но мсье Резо пробежал через комнату, даже не заметив, что мы упали.

Аббат уехал тотчас же. Мне врезалось в память, как он садился в старую коляску, пропахшую

кожей и конским навозом (ее в скором времени заменили малолитражным «ситроеном»).

На прощание Трюбель, однако, успел сунуть мне в руку львиный коготь и доверительно шепнуть на ухо, неожиданно перейдя на «ты»:

— Бери, дружок! Один лишь ты достоин такого подарка.

Изгнанного аббата Трюбеля заменил другой аббат, но нам, детям, пришлось расплачиваться за разбитые горшки. Психимора по-прежнему считала нас ответственными за все неприятности, возникавшие в доме. А в те дни для обитателей «Хвалебного» началась полоса неудач. Едва утих скандал с увольнением наставника в белой сутане, как началась распря из-за бельевых шкафов. Самая бедная из наших теток, мадам Торюр, осмелилась потребовать для себя нормандский шкаф из маленькой столовой и в добавление к нему две пары простынь. Неслыханные претензии! У двух десятков шкафов, украшавших наш замок, заскрипели от негодования дверцы. Устами возмущенной мадам Резо пятьдесят пар простынь заявили, что они никогда не покидали и не покинут «Хвалебное». Никому и в голову не приходило подвергнуть пересмотру справедливый раздел, по которому все добро перешло к мсье Резо, на-

шему отцу, благодаря добровольному отказу от наследства остальных членов семьи — таким образом свято соблюдалась традиция, позволявшая при каждой смене поколений сохранить поместье целым и неделимым. Документ подписали Габриель, баронесса Сель д'Озель, Тереза, графиня Бартоломи, протонотарий, сестра Мария из монастыря св. Анны Орейской, сестра Мария из монастыря визитандинок, сестра Мария из монастыря уже не помню какого святого (три последние — невесты Христовы, правда, и без них у Христа невест было хоть отбавляй). Подписала документ и мадам Торюр, сдуру вышедшая замуж за бедняка, оставшаяся вдовой после этого бедняка и сохранившая ему верность! Чего же теперь требует эта нищенка? Психимора просто задыхалась от негодования.

Мсье Резо колебался. Он был человек честный. Для успокоения совести он, в великой тайне, отказался в пользу сестры от авторских прав, унаследованных от матери. К несказанной радости Психиморы, шкафы остались на месте, но осторожности ради кое-какие пустые шкафы решено было превратить в уборные. Инцидент был исчерпан.

Но вслед за тем вдруг начался непонятный па-

деж лошадей. Итак, полоса неудач продолжалась. Лошади не давали никаких объяснений своим внезапным смертям. Сап, как утверждал коновал, он же ветеринар. Психимора недоверчиво пожимала плечами. Она знала, где собака зарыта. Прямо она не обвиняла сыновей в отравлении конского поголовья, но установила за нами слежку, долгие недели производила дознания, клеветала, чернила, надеясь найти улики или хотя бы подобие улик, которые позволили бы ей отправить виновников в исправительный дом, что было мечтой ее жизни. Напрасный труд! Мы были ни в чем не повинны. И держались настороже. Мсье Резо заменил лошадей автомобилем.

Жизнь в вашем доме, полная благочестия и вероломства, снова пошла своим чередом.

Мы росли туго. Мы как будто не смели увеличиться в росте. Психимора измеряла его каждые три месяца, пользуясь для этого, можно сказать, исторической планкой, на которой рост всех отпрысков Резо отмечался карандашной чертой с указанием имени и даты измерения. Но тщетно. Вероятно, мы нашли трюк, противоположный изобретению новобранцев наполеоновской гвардии, которые засовывали в носки колоду карт, желая достигнуть требуемого роста.

— Держись прямей, Рохля!

Но рост у Рохли не прибавлялся ни на один сантиметр.

Нет, одно-единственное росло в нас — некое чувство, которое невозможно было измерить, но которое заняло бы многие километры на «Карте Страны Противу-Нежности», ежели бы существовала такая страна. С этой точки зрения нас можно было бы считать гигантами.

Психимора, я помню, я буду помнить всю жизнь… Почему на всех платанах мы вырезали такие странные буквы — М.П.? Эти почти ритуальные знаки украшали все деревья в парке: дубы, тополи, ясени, все породы деревьев, кроме моего любимого тиса! М.П… М.П… Это значило: «Месть Психиморе». Месть Психиморе! Вот что вырезали мы на коре деревьев и осенью на корках созревающих тыкв и на стенах башенок, сложенных из белого песчаника, на котором легко выцарапывать перочинным ножом все что угодно; мы писали даже на полях тетрадей. Нет, милая мамочка, мы писали это вовсе не для того, чтобы запомнить какое-нибудь спряжение, в чем мы вас иногда уверяли. Спряжение глаголов! Нет, милая мамочка, из всех существующих в мире глаголов мы тверже всего знали глагол «ненавидеть» и без

ошибки спрягали его во всех временах: «Я тебя ненавижу, ты меня ненавидишь, он ее ненавидит, мы будем друг друга ненавидеть, они друг друга ненавидели!» М.П. ... М.П. ... М.П. ... М.П. ...

А перестрелка взглядами! Помнишь, Психимора, эту перестрелку?

— Я обстреливал ее четыре минуты! — хвастался Фреди.

Несчастный Рохля! Где уж тебе, подслеповатому, вести обстрел! Если уж кто обстреливал тебя, Психимора, то именно я, — могу похвалиться. Помнишь про это? Ах, извини, ты помнишь об этом! Ты постоянно твердила:

— Не люблю косых взглядов. Смотрите мне прямо в лицо. Я сумею прочесть ваши мысли.

Таким образом, ты сама вовлекала нас в игру. И уже не могла от нее уклониться. Да, такие дуэли тебе самой нравились, дражайшая мамочка! Удобная минута наступала за обедом, проходившим в полном молчании. Сижу смирно, поди придерись ко мне. Сижу смирно, положив руки на стол. Не прислоняюсь к спинке стула. Словом, держу себя безупречно. Не допускаю ни малейшей погрешности в поведении. Я могу смотреть на тебя, Психимора, в упор — это мое право. И я смотрю на тебя, смотрю с лютой ненавистью.

Только и делаю, что смотрю на тебя. А про себя говорю с тобой. Я говорю, а ты меня не слышишь. Я говорю: «Психимора! Посмотри же на меня! Психимора, я же с тобой разговариваю!» И вот ты отрываешь взгляд от тарелки с лапшой, твой взгляд поднимается, словно змея, нерешительно покачивается, стараясь обнаружить слабое место, но слабого места нет. Нет, Психимора, тебе не ужалить меня! С гадюками я уже встречался. Плевать мне на гадюк. Однажды ты сама сказала при мне, что еще совсем маленьким я удушил змею.

— Он мог погибнуть по вине бабушки, ужасный недосмотр! — прошипела ты. — Он спасся по великой милости господней!

Но сказала таким тоном, словно упрекала господа бога за эту великую милость.

Но вот твой взгляд впился в мои глаза и ты вступила в поединок. По-прежнему я молчу, я держу себя пай-мальчиком и с величайшим наслаждением дразню тебя. Я разговариваю с тобой, Психимора, ты меня слышишь? Конечно, слышишь. Так вот, я тебе скажу: «Ты уродина! Волосы у тебя сухие, подбородок противный, уши торчат. Ты, мамаша, уродина. И если бы ты знала, как я тебя не люблю! Я говорю это так же искренне, как Химена говорит Сиду: „Иди, тебя я ненави-

деть не могу“ (мы как раз изучали корнелевские характеры). Я не люблю тебя. Я мог бы сказать „ненавижу“, но это менее сильно. О, злобствуй сколько угодно! Смотри на меня жестким взглядом своих зеленых, ядовитых серо-зеленых глаз! Я не опущу век! Во-первых, тебе это неприятно. Во-вторых, Рохля смотрит на меня с восхищением — он ведь знает, что я стремлюсь побить рекорд в 7 минут 23 секунды, установленный мною в прошлый раз, и он незаметно контролирует меня по твоим собственным ручным часикам. Сегодня я прикончу тебя взглядом. Этот лицемер Кропетт тоже следит за мной: пусть знает, что я его не боюсь. Пусть сам боится меня и пусть хорошенько подумает о тех неприятностях, какие я могу ему причинить. Я уже не раз при случае щипал его за зад, а скоро у меня хватит сил хорошенько избить эту мерзкую харю, как выражается Жан Барбеливьен. Жан его терпеть не может, да и никто его не любит, даже ты, мамаша, хотя и приучаешь его доносить на нас. Так что видишь, Психимора, у меня есть сотни причин выдержать испытание и, не моргнув глазом, смотреть на тебя в упор. Ты видишь, я сижу спокойно, как раз напротив тебя, устремив взгляд в твои змеиные глаза. Взгляд мой словно протянутая рука, которая потихоньку

сжимает, сжимает гадюку до тех пор, пока та не сдохнет. Увы! Простой обман зрения. Это я только так говорю. Ты не сдохнешь. Ты еще долго будешь шипеть. Но ничего, ничего! Фреди, незаметно постукивая ногтем по столу, уведомляет меня, что я побил свой недавний рекорд, что я обстреливал взглядом Психимору больше восьми минут. Восемь минут, Психимора! А я все еще смотрю на тебя. О Психимора, сокровище мое! Взглядом я оплевываю тебя, я плюю тебе в глаза. Плюю в лицо, плюю…»

— Фреди, перестань стучать по-дурацки ногтями!

Кончено! Я победил. Ты нашла предлог отвернуться от меня. Будущего наследника ты наказываешь — тычешь его вилкой в руку, а затем, метнув на меня злобный взгляд из-под коротких ресниц, ты как будто говоришь: «Погоди, идиот, я тебе отплачу при первом же подходящем случае». На моих губах мелькает едва уловимая улыбка, заметная только тебе, Психимора. И ты мстишь: ты снова вонзаешь вилку в руку Фреди в самое чувствительное место (между косточками, по которым перечисляют месяцы года), вонзаешь с такой силой, что на руке выступают четыре капельки крови. Теперь уж Фреди бросает на меня

косой взгляд. Папа слабо протестует:

— Сколько раз я тебе говорил, Поль, бей черенком вилки.

В добродетельном негодовании аббат молча опускает глаза. Этот очередной наставник тоже у нас не заживется: ему не по душе порядки в нашем доме.

Постойте-ка! Я становлюсь рассеянным, я забыл рассказать об этом аббате номер четыре. Да, четыре, вот уже два наставника, нанятые после отца Трюбеля, не смогли приноровиться к «слишком суровой системе воспитания» (выражение сильно смягченное, как и подобает духовным лицам). Оба они сбежали под благовидными предлогами: один сослался на болезнь матери, а другой — на свои собственные недуги. Четвертым оказался молодой семинарист, нанявшийся к нам на летние каникулы. Поначалу он взялся за дело с энтузиазмом. Подумать только! Он попал в тот самый дом, где родился великий защитник церкви. Но, думается мне, наша святость показалась ему слишком угрюмой, и он с сожалением вспоминал о семинарии, где воспитанники прохаживались по двору между долгополых сутан шестерками (первая шестерка шла как положено, а вторая — повернувшись спиной к ней) и где он

чувствовал себя куда лучше, чем в сырой тени платанов нашего парка.

Недолго пробыл у нас этот аббат, я даже позабыл его фамилию. Но почему же, черт возьми, мне так запомнилось кроткое лицо этого новобранца духовного воинства здешней епархии? Ну-ка припомни, Хватай-Глотай. А-а, вот оно что, вспомнил! Ведь именно этот случайный знакомец испуганно подхватил в свои объятия мадам Резо.

Да, в свои объятия. В тот самый вечер, когда я побил рекорд. Во время вечерней молитвы. Быть может, припадок был ускорен нервным напряжением, до которого я довел свою бедняжку мать. Если так — я доволен. Это для меня огромное утешение. Теперь я вспомнил все до малейших подробностей. Внезапно мать побелела как полотно. А как раз в это время отец начал бодро читать акафист богородице:

— Пресвятая дева Мария, вечная наша представительница и заступница…

«А что такое дева? — рассуждал я про себя. — Барбеливьенов Жан говорит, что дева — это женщина, у которой нет детей. Но ведь у Пресвятой девы был ребенок».

Тут мадам Резо вдруг встала и обеими руками

схватилась за живот. Фреди бросил на меня быстрый взгляд.

— …заступница наша милостивая, во всех скорбях утешительница, в горестях нас никогда не покидающая, всегда внемлешь ты молениям нашим…

Ну уж это сущая чепуха! Сколько раз, доверившись этим словам, молил я заступницу, и никогда она ничего не сделала, чтобы смягчить Психимору!

— …ниспошли нам щедроты твои, приснодева.

Приснодева — это самая, самая чистая дева. Очевидно, существует различная категория дев. Ведь говорят же — царь царей.

— …к стопам твоим припадаю, стеная под бременем грехов своих… Поль, что с вами?

О, мой отец, ваша супруга стонет. Стенает под бременем грехов своих. Издает слабые стоны, хотя другие на ее месте вопили бы во всю глотку. Корчится от боли, шатается и, пытаясь выпрямиться, вдруг всей тяжестью падает на руки семинаристу. Он почтительно подхватывает ее, хотя становится при этом красным, как пион.

Папа, разумеется, в панике:

— Поль, душенька моя, что с тобой? Аббат, давайте перенесем ее на кушетку в гостиную. Фина!

Фина! Ах, забыл, что она глухая!

Он бьет себя кулаком в грудь — высший сигнал бедствия. И глухонемая Альфонсина наугад хватает кувшин с нашей колодезной, чуточку мутной водой и выливает половину на голову хозяйке, но та лежит неподвижно. Да, черт возьми, дело серьезное. Нам всем очень интересно, и мы с любопытством вертимся вокруг. Психимора корчится, держась руками за живот, — вероятно, у нее приступ печени. Дыхание стало хриплым. Стыдно признаться, но с той минуты, как она начала задыхаться, нам стало легче дышать.

Наконец папа принимает единственно разумное решение: садится в машину и едет в Соледо за доктором Какором. Тем временем Фина вместе с Бертиной Барбеливьен, за которой успели сбегать, перенесли мать в спальню, раздели и уложили в постель. Когда врач приехал, она все еще была без сознания.

— Ну конечно, это все Китай, — сказал доктор. — Приступ гепатита. Боюсь, что у нее камни в печени. Надо будет сделать рентгеновский снимок. Я впрысну морфий.

— Идите ложитесь спать, дети, — тихонько сказал отец.

Я заснул очень поздно. Я вспоминал смерть

бабушки. Как быстро совершилось это несчастье! Бог допустил тогда жестокую ошибку, а что, если он теперь решил ее исправить? Да будет на то его святая воля. Право, меня бы очень устроило, если б на то была его святая воля.

В доме теперь тихо. В круглое окошечко моей комнаты проникает запах свежего навоза. Барбеливьен возвращается из коровника, и в ночной тьме мерцает его фонарь. В моей отяжелевшей голове мерцает последняя кощунственная надежда.

X

Два дня спустя Психимора воскресла… Быстрее, чем Иисус Христос! По крайней мере временно: больная печень дает иногда такие отсрочки. Психимора отвергла рентгеноскопию, прописанные врачом лекарства, минеральную воду Виши, а главное, всякое выражение сочувствия. Желая поберечь жену, отец хотел было отказаться от устройства ежегодного приема. Но она воспротивилась.

— Вы меня еще не похоронили, — заявила она.

И прием состоялся. Мадам Резо, становившаяся с каждым годом все скареднее, не так уж любила это дорогостоящее празднество, на которое съезжалось человек двести — вся местная знать, начиная от герцогини, снисходительно шествовавшей между группами гостей, и кончая аптекарем (этого уж допускали в последнюю очередь).

— Потратим шесть тысяч франков и расплатимся за все приглашения разом, — заявлял отец. — Да и положение наше обязывает…

Шесть тысяч франков! На эти деньги можно бы-

ло в те времена прилично одевать целую семью в течение двух лет. Шесть тысяч франков! Почти что десятая часть нашего ежегодного дохода.

Возникло осложнение. При всем своем добром (вернее, злом) желании Психимора не смела запретить нам, как прежде, появляться на ее рауте. Мы уже настолько выросли, что наше отсутствие не могло оставаться незамеченным. Но у нас не было приличных костюмов. По правде говоря, у нас вообще не было костюмов: мы носили короткие штаны и фуфайки — изделия рук нашей Фины. В последнюю минуту Психимора приобрела один костюм. Я не оговорился — действительно один на троих. Мы, по ее мнению, были почти одинакового роста: Кропетт, который пошел в Плювиньеков, рос быстрее, чем старшие братья.

— Первым наденет костюм Рохля и час пробудет среди гостей. Вторым нарядится Хватай-Глотай, а через час передаст костюм Кропетту. Никто не заметит. Зато получится большая экономия. Помимо того, раз вы появитесь поодиночке, у вас будет меньше соблазна делать глупости и вы успеете, как в обычные дни, приготовить уроки. А тот час, который вы проведете среди гостей, будет считаться переменой.

Такой выход из положения явно не понравился отцу, и он неохотно дал свое согласие. Что касается аббата (можно обозначить его АБ № 4, а для краткости просто № 4), то он оторопел.

— Признаюсь, не могу понять, что за порядки в вашем доме, — осмелился он сказать нам. — Вы тратите такие большие деньги на пиры, а самим надеть нечего.

— Мы ведь небогаты, господин аббат, — ответил я, — нам нужно поддерживать свой престиж, но тратить на это как можно меньше.

— Жертвуя необходимым ради излишнего?

— А что вы называете необходимым?

Аббат получил должный отпор.

— Обычно вы не так горячо защищаете свой клан!

Я всецело разделял его мнение, но мне и в голову не приходило, что он говорит искренне. Я считал, что он хочет заманить меня в ловушку, вызвать у меня жалобы, за которые мне жестоко достанется вечером на публичном покаянии. Кропетт не раз подкладывал нам такую свинью.

— Странные дети! — пробормотал семинарист. Вдруг его осенила догадка: — А! Понял! Вы и меня принимаете за недруга. Бедный вы мальчик!

Не люблю, когда меня жалеют. Терпеть не могу

хныканья. № 4 хотел было погладить меня по голове, но я увернулся быстрее, чем от тумака.

Кропетт молча слушал наш разговор.

Итак, празднество состоялось под предводительством еле живой Психиморы. Наша «часовая перемена» оказалась тяжелой повинностью — куда легче было чистить дорожки в парке. Играть четвертым партнером в бридж, подбирать теннисные мячи, целовать сухонькие аристократические пальчики вдовствующей графини Соледо или мадам де Кервадек, мчаться во всю прыть на поиски шофера господина имярек, нести шотландский плед нашего двоюродного деда, почтенного академика, на минутку пожаловавшего на празднество, — вот каковы были наши развлечения. Для Фреди, который все-таки перерос меня, и для Кропетта, который все-таки до меня не дорос, наш общий костюм был не по мерке, и оба не выигрывали в нем. А я, будучи, так сказать, на полпути между братьями, казался в этом костюме почти элегантным. Мадам Резо заметила это и мимоходом шепнула мне на ухо:

— Спусти пониже помочи.

Я, конечно, и ухом не повел. Но она все же поймала меня в пустынном коридоре, когда я пробегал с каким-то поручением и, загнав в угол,

собственноручно испортила мой наряд. Папа, учтиво беседовавший с мсье Ладуром, который прежде торговал кроличьими шкурками, а теперь — увы! стал самым богатым помещиком в наших краях, нашел, что я одет неизящно.

— Ты что, не видишь, что у тебя брюки собрались гармошкой? Подтяни помочи.

Я повиновался. Но тут возвратилась Психимора. Я заметил, как она, жеманясь, идет под руку с мсье де Кервадеком. Казалось, она твердо держится на ногах. При виде моих брюк ее бледное лицо слегка порозовело. Мне только что доверили блюдо с пирожными, и она придумала хитрую уловку:

— Смотри не объешься, милый!

А ведь я не съел ни одного пирожного, только угощал гостей. Но мсье де Кервадек, племянник кардинала, попался на эту удочку. Взяв по-отечески у меня из рук блюдо с пирожными, этот бородач светском тоном прочел мне лекцию о грехе чревоугодия. В этой нотации, приноровленной к пониманию избалованных детей, то и дело повторялось слово «гадкий». Слащавый выговор меня возмутил. Особенно обидно было мне то, что я выгляжу маленьким мальчиком, которого можно так наставлять. Мне было двенадцать лет,

а на вид — десять, зато твердости хватило бы и на четырнадцатилетнего. Психимора, которая чутьем угадывала все, что могло быть мне неприятно, сразу поняла мои переживания. От себя она добавила медоточивым голосом, однако не забыв добавить в мед уксусу:

— Ступайте, гадкий мальчик! Ступайте к себе в комнату и скажите вашему братцу Марселю, что тетя Сель д'Озель ждет его, она играет в безик, и он будет вести счет ее взяткам.

Наказание было отсрочено. В желчном пузыре Психиморы опять заворочались камни. На этот раз она почувствовала приближение приступа. Не поднимая тревоги, она незаметно покинула парадную гостиную, еще полную народа, и, направившись в ту комнату, где находился шкаф с лекарствами, достала оттуда шприц и ампулу с морфием. Час спустя мы нашли ее на постели. У нее еще хватило мужества снять с себя и повесить на плечики шитое серебром платье. Она спала глубоким сном, завернувшись в просторный халат. Меня изумило выражение ее лица. Черты его смягчились. Даже линия подбородка не казалась такой грубой. У гадюки с угасшими глазами, у той гадюки, что лежала мертвая под платаном, чешуя уже не отливала металлом.

— Папа, правда, когда мама спит, она сама на себя не похожа?

Отец посмотрел на жену и вдруг дал мне удивительный ответ:

— Верно, без маски она гораздо лучше.

И он поцеловал меня. Тревожился он теперь меньше, чем при первом приступе. Для него важнее всего была привычка. Перед любой новизной он оставался безоружным. Но этот, да и последующий приступы печени у Психиморы не были угрожающими. Отец, участвовавший в войне четырнадцатого года, вероятно, испытывал страх только в первые дни. Люди такого склада, как он, привыкают ко всему, даже к смерти, а главное, к чужой смерти, особенно когда она становится частью той жизни, которой они только и умеют жить, то есть обыденной жизни.

Нет, и на этот раз Психимора не умерла. На следующий день она была уже на ногах. Лицо у нее было мертвенно-бледным, но подбородок торчал еще более грозно, чем обычно. Губы, полуоткрытые вчера, плотно сжались. Первой ее жертвой оказался аббат. Не знаю, что за разговор произошел у них в библиотеке, но аббат вышел оттуда совсем сконфуженный, с красными глазами. Это последнее обстоятельство меня возмутило. Что

это за мужчина, который плачет? И я кратко выразил свое мнение:

— Психимора держится лучше.

— Да, — подтвердил Фреди, — она держится молодцом, смелости у нее хватает. Вчера вечером она сама сделала себе укол!

— Она как скорпион, он тоже перед смертью сам себя жалит, — заметил Кропетт, который, видимо, чувствовал свою вину перед нами и решил к нам подлизаться.

Этого еще только недоставало. Восхищаться Психиморой! Этак бог знает до чего дойдешь. К счастью, расправа продолжалась. Пришла Фина — ей тоже намылили голову (выражаясь фигурально, ибо в буквальном смысле слова это случалось с ней весьма редко). Кажется, она вела крамольные речи на своем «финском языке». Бедняжка пришла за мной в классную комнату. Она повертела воображаемое обручальное кольцо на пальце (в переводе это означало: «Хозяйка»), три раза поманила меня пальцем (в переводе: «Зовет вас»). Затем раз десять щелкнула в воздухе пальцами и ткнула себя большим пальцем в грудь (в переводе: «А что она мне наговорила, так мне на это наплевать»). Затем последовали уже известные вам знаки в виде быстрых рукоплес-

каний: «Скорее!»

Я направился в библиотеку. Мамаша сидела в шезлонге. Именно сидела, а не лежала, — сидела, выпрямившись в струнку, не касаясь мягких подушек, так что ее ноги вместе с напряженной фигурой образовали идеальный прямой угол. Она смерила меня взглядом.

— Ты вчера, кажется, позволил себе ослушаться меня!

Я ничего не ответил. Она улыбнулась. Уверяю вас, улыбнулась. В распоряжении Психиморы имелось с полдюжины различных улыбок. Та улыбка, которой она одарила меня, разлилась по ее лицу, словно сироп по засахаренному каштану.

— Ну, оставим это. В общем, запомни хорошенько, если я даю тебе приказание, то даже сам отец не имеет права его отменить. Но я не по этому поводу позвала тебя. Я хочу знать, что именно сказал ваш наставник, ведь он позволил себе говорить обо мне недопустимые вещи.

Левый глаз у меня задергался.

— Но я знаю также, что его старания очернить меня в ваших глазах были довольно жалкими. Ваша бабушка и мадемуазель Лион порочили меня гораздо сильнее, чем этот семинарист.

— Это неверно, мама. Бабушка никогда о вас не говорила, а мадемуазель Лион заставляла нас молиться за вас утром и вечером.

Мадам Резо не осмелилась ответить: «На это мне плюнуть да растереть», но по безмолвной ассоциации мыслей зашаркала ногой по полу.

— А что же все-таки сказал аббат? — настаивала она.

Я вовсе не собирался выдавать семинариста, хотя его уже выдал Кропетт. Не могло быть и речи о том, чтобы восстановить действительный смысл его слов. Впрочем, этот будущий кюре оказался самым настоящим трусом. И пожалуй, даже лучше, что его выгонят из «Хвалебного».

— Для таких донесений, мама, у вас есть Кропетт, — ответил я спокойно.

И как я и ожидал, раздалась звонкая пощечина, неизбежная пощечина. Какая наглость! Мне еще не исполнилось и двенадцати лет, а я посмел ничем не выразить страха. Я только попятился, не прикрывая, однако, лица, как это обычно делал Рохля, специалист по увертыванию. Мое поведение, по-видимому, пришлось по душе Психиморе, из которой вышел бы великолепный жандармский офицер. Лицо ее выражало тревогу, но и некоторое уважение.

— Силенок у тебя еще маловато, милый мой, — сказала она спокойно, — однако надо признать, что мужества ты не лишен. Я знаю, ты меня ненавидишь. Но я хочу тебе сказать, что из трех сыновей ты больше всех похож на меня. Ну, убирайся отсюда, да поживей!

Не сомневайтесь. Стрела пронзила ей грудь у самого сердца. Я даже думаю, что, прибегнув к известной дипломатии, я мог бы… Нет, нет! Мы уже притерпелись к нашей ненависти, как факиры к своему ложу из шипов.

Аббата выгнали.

Приехал следующий аббат, № 5 по нашей классификации, а по документам — Атаназ Дюпон. Но он выдержал только неделю и ушел, хлопнув дверью. Прежде чем сесть в поезд узкоколейки, направлявшийся в Анже, Атаназ посетил кюре Летандара в Соледо, рассказал ему, как ужасно нас воспитывают. Но семья Резо пользуется большим влиянием в архиепископстве, на ее пожертвования содержатся так называемые свободные школы, имя Резо является символом, престиж коего не могут поколебать подобные мелочи. Кюре Летандар, памятуя о своем положении, испугался и не захотел вмешиваться. Атаназ, уроженец Трелязе, красного предместья

Анже, бесстрашный Атаназ, обратился непосредственно в управление епархии, там взяли дело в свои руки и направили в «Хвалебное» настоятеля прихода Соледо. Я прекрасно помню, как он приехал к нам, пунцовый от смущения, помню, как дрожали у него руки: у бедняги начинался тогда дрожательный паралич. Отец встретил его в штыки.

— С какой стати архиепископ вздумал вмешиваться в мои личные дела, они совершенно не касаются его преосвященства.

— Видите ли, последние наставники ваших сыновей принадлежали к духовенству здешней епархии. Его преосвященство недоволен, что вы несколько бесцеремонно уволили их одного за другим. Теперь всем известно, что ваши дети… хм!.. не получают…

— Вы еще скажете, что мы их истязаем! Прекрасно, господин кюре. Я лично поговорю с монсеньером.

Настоятель увильнул от этой беседы и заговорил о другом:

— Управление епархии уполномочило меня передать вам, что необходимо возобновить разрешение на отправление церковных служб в вашей домашней часовне.

Отец побледнел как полотно. Разрешение! Поставить под вопрос эту почетную привилегию, а может быть, даже уничтожить ее? Нет, невозможно! Вся слава семейства Резо, которой так мучительно завидовали господа Кервадеки (чья домашняя часовня не пользовалась подобным преимуществом), зиждилась на разрешении служить в домашней часовне даже воскресную мессу. Отец в ужасе всплеснул руками.

— У моей жены тяжелый характер, я с этим согласен. Соблаговолите передать его преосвященству мои извинения. Впредь я буду придерживаться установленных правил.

— Не лучше ли вам отдать сыновей в коллеж?

Отец воздел руки к небесам.

— Господин кюре, имение почти не приносит дохода. Рента после войны, как у всех, обесценена. Я не имею возможности содержать в пансионе троих сыновей. Должен признаться, Резо обеднели.

— Тем более сделает вам честь ваша великодушная щедрость, — протянул в заключение священник, делая в слове «великодушная» ударение на каждой гласной.

Иными словами, он взывал к отцовскому кошельку. Отец понял намек, вынул чековую

книжку и пожертвовал две тысячи франков на благотворительные учреждения нашей епархии.

Таким образом, разрешение на церковные службы в домашней часовне было возобновлено.

Для нас пригласили нового наставника.

Миссионер из общины Непорочной девы Марии, заболевший туберкулезом в результате своей последней экспедиции к берегам Атабаски и Маккензи, отец Батист Вадебонкер, прибыл к нам из Квебека. Для предохранения от заразы мадам Резо ограничилась единственным средством: отвела чахоточному отдельный прибор. Впрочем, больной кашлял довольно деликатно, прикрывая рот огромным клетчатым платком, к которому были прикреплены английскими булавками два образка. Трафаретный образец благочестия, он уснащал свою речь привычными церковными штампами: «приснoблаженный Иосиф», «высокочтимый кюре Арский», «пресвятая дева Мария». Никогда не говорил «бог», но обязательно «господь бог», не просто «папа римский», а «его святейшество папа римский». А в общем, славный деревенский парень, который не сумел завоевать нашего доверия, но долго служил для нас источником развлечений. Ему были знакомы все виды спорта, столь необ-

ходимые миссионерам в северных краях: он с одинаковым успехом ловил щук на блесну, лазал по деревьям, вязал шерстяные носки, пилил дрова, разводил черенками розы. В латыни он был слабоват. Закаленный суровой канадской жизнью, он считал вполне естественным, что мы носим деревенские сабо, ходим с обритыми головами, обязаны чистить садовые дорожки, приносим публичные покаяния и так далее. Мне всегда казалось, что большущий клетчатый платок, который он так часто разворачивал, скрывал от него значительную долю действительности. Используя маленькие таланты отца Батиста, Психимора живо приспособила его к хозяйственным работам, довольно необычным для наставника. Аббат № 6 попал к нам в благоприятный момент. Приступы печени участились и стали настолько мучительными, что матери пришлось на время ослабить надзор и заключить с нами своего рода молчаливое перемирие.

Доктор Какор советовал прибегнуть к удалению желчного пузыря, но мадам Резо всеми силами старалась избежать операции. Ее ужасала мысль о необходимости отлучиться из дому на два месяца. Что останется от ее владычества к тому времени, когда она вернется? С некоторых пор мы

вдруг согласились расти. И наша мать, изменив свое прежнее мнение, с тревогой замечала, что мы становимся все выше. Плечи Фреди были уже на одном уровне с ее собственными плечами.

XI

14 июля 1927 года — да, так долго продержалась мадам Резо! — 14 июля, в годовщину провозглашения «их» республики и в день праздника Свободы, она сделала себе три укола, но они не помогли. Большой камень застрял в желчном протоке и не желал проходить. Какор на этот раз решительно настаивал на операции:

— У вас, мадам Резо, вместо желчного пузыря мешок с камнями. Надо немедленно сделать операцию, иначе я ни за что не отвечаю.

Психимора все еще сопротивлялась, но приступ длился семь часов, и она капитулировала. Однако перед отъездом в клинику она сочла нужным всенародно пригрозить нам самыми страшными карами, если мы натворим бед в ее отсутствие. Аббат № 6 получил строгий наказ. Множество наставлений и заклинаний обрушилось на отца, который, неохотно оторвавшись от своих коллекций, спустился с чердака и был немедленно провозглашен главным наместником королевства. Фина получила необходимые ключи, однако связка остальных по-прежнему

висела на внутренней стенке крепко запертого английского шифоньера.

На прощание Психимора будто клюнула каждого из нас в лоб сухим коротким поцелуем и по обыкновению перекрестила; отец осенял нас крестным знамением, мягко касаясь наших лбов большим пальцем, Психимора же царапала ногтем.

Наконец, приняв все предосторожности, мегера (мы добавили еще и это прозвище к прежней коллекции ее кличек) кое-как взобралась в санитарную машину, и та покатилась по платановой аллее. Наши многочисленные «М.П.» приветствовали ее по пути. Согласно установленному ритуалу, мы отправились кратчайшим путем в ту часть парка, которая шла вдоль шоссе, — машина должна была проехать там, чтобы свернуть на Анже. По команде мы все замахали платками, добавлю, совершенно сухими.

Позднее, когда я учился в коллеже, мне порой казалось, что я сижу в пустом классе, хотя кругом шумели мои товарищи, но стоило войти старшему надзирателю, и комната как будто сразу наполнялась людьми. Важно не число обитателей в доме, а их значимость. С отъездом Психиморы «Хвалебное» опустело. В угрюмой

тишине двери хлопали так гулко, словно кто-то стучал молотком по пустой бочке.

Уже не слышно было крикливого голоса, отдававшегося оглушительным эхом, — голоса, который созывал свой выводок, чтобы распечь нас, бессовестных детей, якобы нарушивших границы площадки, где им дозволялось играть; голоса, поминутно утверждавшего (хотя мы и не думали противоречить): «Раз я так говорю, значит, это правда»; голоса, перекрывавшего все остальные голоса, даже когда он снижался до шепота, — словом, нам не хватало этого голоса, ее голоса, голоса Психиморы!

Конечно, мы были довольны. Но счастьем это не назовешь. Нельзя сразу построить счастье на вековых руинах мучений. Нашу радость омрачало чувство неуверенности. Я вполне понимаю смятение почитателей Молоха и неумолимой Кали, вдруг лишившихся своих злых богов. Нам некем было заменить наше божество. Ненависть завладевает людьми еще сильнее, чем любовь.

Наместник королевства нервничал. Он не любил ответственности, а главное, терпеть не мог мелочей жизни. За ужином, видя, что мы держим руки не так, как положено, и откидываемся на спинку стула, он счел необходимым выразить

свое неудовольствие.

— Пользуясь отсутствием матери, вы ведете себя как обезьяны.

Но тут же мсье Резо забыл о нас. Он всецело был поглощен намазыванием масла на ломтики хлеба (сливочного масла — священнейшего продукта, который лишь для него одного выдавался по полфунта в неделю — ведь отцу требовалось усиленное питание для поддержания сил, подорванных ночными бдениями); занявшись своими бутербродами, «старик» больше не разжимал рта. Я говорю «старик», потому что это слово уже давно вошло в наш лексикон. Но теперь оно было оправдано седеющими усами отца. Мать мы стали называть «старухой» лишь десять лет спустя.

Этот день, 14 июля, который с грехом пополам признавался законным торжеством в наших краях (у нас национальным праздником скорее считают день канонизации Жанны д'Арк), закончился великолепным закатом. Косые лучи солнца вливались в окна, расположенные таким образом, что только в самый длинный день года происходило некое оптическое явление. Последним усилием, и всего лишь на несколько секунд, кончик милостивого луча касался лучшего украшения столовой — драгоценного гобелена,

изображавшего Амура и Психею. Редкостное событие! И по старой традиции, установившейся еще тогда, когда Резо действительно составляли единую семью, по старой традиции, естественным образом канувшей в прошлое после смерти бабушки, все собравшиеся за столом должны были в эту минуту встать и обменяться друг с другом «поцелуем мира».

Вдруг отец вспомнил об этом… Он бросал растерянные взгляды то на гобелен, то на пустой стул матери… Никто и глазом не моргнул. Отец робко сказал:

— Так что же вы, дети! Ведь солнце освещает Амура!

Hush[10] (как восклицают англичане, на языке которых мы совсем позабыли говорить в тот вечер), быстрая перестрелка взглядами, холодное молчание. Вот и все. Нет, мы не обменялись «поцелуем мира». Но наше презрение к нежности стало на мгновение стыдливой нежностью. Отец, несомненно, оторвался в эту минуту от всего житейского. Какие воспоминания воскресли тогда у тебя, отец! Должно быть, возникло перед тобою видение прошлого, когда кругом было столько

---

[10] Примечания: 10
Тише (англ.).

юных девушек — твоих сестер и их подружек, милых соседок, среди которых была, возможно, избранница твоего сердца?

Вот и все. Фина уже убирала со стола грязную посуду. Уже закатилось, потухло солнце. Уже летучие мыши замелькали в воздухе на своих кожаных крыльях, сменив белогрудых ласточек.

Публичная исповедь не состоялась в тот вечер. Я заметил, как отец переглянулся с аббатом № 6. Когда Марсель встал на колени, наш наставник остановил его:

— Вы теперь уже большие мальчики, и вам не годится исповедоваться при всех. Иной раз нам может быть неловко от ваших покаяний. Однако, дети, сохраните привычку каяться в грехах прямо господу богу. Я предлагаю соблюдать ежевечерне две минуты молчания, а после этого помолиться о выздоровлении вашей матушки.

В парке заухала сова: мне показалось, что это Психимора выражает свое возмущение. Но вдруг сова, чуть слышно хлопая крыльями, слетела с дерева и исчезла где-то во тьме, пронизанной сердитым кваканьем лягушек в реке Омэ.

И «отвоевание свободы» продолжалось.

На следующий же день границы отведенной нам территории были нарушены. Аббат Батист

сам привел доводы в защиту такого акта:

— Ваши сыновья должны развивать свою мускулатуру, мсье Резо. Они давно вышли из младенческого возраста. Не в кубики же им играть!

Весь парк теперь был в нашем распоряжении. Я ознакомился с окрестностями вплоть до самых далеких ферм. Забытые нашими скребками одуванчики звездочками пестрели на аллеях. Будучи проездом в Сегре, отец купил нам кожаные башмаки на деревянной подошве (в необходимости этой покупки его убедил намеками аббат № 6). С разрешения отца нам перестали брить головы.

Удивительное дело: отец теперь реже страдал мигренями. Он по-прежнему увлекался сирфидами и доверил нам свои сачки, наказав ловить всех мух без различия.

— Я потом сам разберусь, — говорил он.

Папа сделал даже больше: привлек нас к своим работам по составлению коллекций. Мы удостоились чести орудовать его булавками, лупами и пузырьками с сероуглеродом. Четыре мухи, еще неизвестные энтомологам, недавно присланные из Чили папиным корреспондентом в целях определения, получили следующие наименования: Жакоби, Фердинан (?), Жоаннис и Марселли Резо. По мнению отца, это было самое убедительное

доказательство его нежной любви к сыновьям.

По правде сказать, мы предпочитали ловить рыбу сетью или тянуть бредень. В то время как аббат направлял лодку, мы с упоением загоняли рыбу. Я откопал на чердаке старые верши, еще недавно запретные для нас, и каждое утро на рассвете, еще до мессы, с восторгом вскакивал с кровати и бежал к реке доставать их. Мы редко вытаскивали верши пустыми. Я видел, как бились в них голавли, щуки, лини, плотва; иногда попадались случайные пленники — водяные ужи. Весь улов отдавал тиной, но крестьяне, еще менее разборчивые, чем мы, охотно брали у нас рыбу, а взамен давали мне банки с домашней гусиной тушенкой. Уезжая, Психимора забыла оставить нам ключи от шкафа с соленьями и вареньями.

Что касается матери, она все еще не поправлялась. Удаления желчного пузыря оказалось недостаточно. Хирурги были обеспокоены состоянием больной, организм которой был подорван неслыханной небрежностью к своему здоровью. Вначале она не желала никого видеть, кроме мужа. Держу пари, что Психимора не хотела показываться нам беспомощной и больной. Наконец, через три месяца, она передумала и потребовала,

чтобы нас к ней привезли. Отец решил удовлетворить ее желание в два приема. В первую очередь поехали мы с Фреди.

Расстояние в тридцать три километра, отделявшее «Хвалебное» от Анже, показалось мне ужасно коротким. К этому времени у нас беззаконно отросли волосы, и мы в душе беспокоились, как к этому отнесется Психимора. Тревога оказалась не напрасной: едва мы переступили порог палаты, как мать закричала:

— Жак, вы забыли их обрить! У детей совершенно неприличный вид!

— Мама, — тотчас же возразил я, — папа находит, что мы уже большие и нас неудобно стричь наголо.

Психимора и бровью не повела. Я нарочно развалился на стуле, надеясь услышать упреки за свое поведение, но упреков не последовало. Мать прекрасно понимала, что горизонтальное положение лишает ее власти и величия. Метать громы и молнии в таком положении? Нет, ей вовсе не хотелось быть смешной. На бледных губах у нее заиграла одна из ее улыбок (светская), и, когда отец, взяв в руки шляпу и перчатки, сообщил, что в следующий раз привезет ей Кропетта, она вежливо возразила:

— Не нужно, мой друг, я скоро вернусь домой.

Слава богу, она вернулась только через несколько месяцев. Но эта угроза сильно нас встревожила. Вечером, за ужином, отец сидел угрюмый, аббат озабоченный, братья хмурились, и в довершение всего Фреди опрокинул миску с супом.

— Вы за последнее время совсем распустились! — заорал «старик» и набросился на хлеб с маслом (теперь он съедал уже по фунту масла в неделю).

Однако после вечерней молитвы естественная детская беспечность взяла верх. Отец тоже повеселел и даже захотел «поместить».

Это выражение из нашего семейного жаргона означало прогуляться, попытаться, пошляться. Широкая платановая аллея доходила до дома и, обогнув его, спускалась к реке, через которую был переброшен величественный мост. За мостом аллея уже называлась не платановой, а «красной», и тянулась до фермы «Бертоньер», меж двух рядов красных буков.

Уже наступили осенние холода. Отец кутался в старую куртку из козьего меха, потертую на локтях и сзади, поднимал воротник и шагал вместе с нами в темноте. Аббат шел позади, перебирая четки. И вот началась беседа.

Не помню теперь, какую тему затронул мсье Резо в тот вечер. «Поместиться» после ужина с детьми и прочесть им лекцию имело, по-видимому, в глазах отца одинаковый смысл. В нем сказывался преподаватель, оставшийся без учеников, — вечерние ораторские упражнения освежали ему мозги. Мсье Резо много читал, и, конечно, не романы, а научные труды. Его эрудиция и необыкновенная память давали ему возможность говорить о чем угодно — «крутить пластинки из своей дискотеки», как говорил позднее Фреди. Некоторые «пластинки» ставились часто. Зато другие, самые интересные, мы слышали не больше двух раз. Если была хорошая погода и небо ясное, отец, любуясь звездами, пускался в рассуждения о космографии: Сириус, называвшийся в древности Сотис, звезда Бетельгейзе, Три Волхва, Проксима в созвездии Центавра, которую невозможно увидеть невооруженным глазом, хотя она, кажется, наша самая ближайшая соседка, Венера и прочие небесные светила до сих пор стоят у меня перед глазами с такой же будничной непосредственностью, как уханье сов, раздражавшее наши барабанные перепонки. Стоило нам присесть на минуту под раскидистым дубом у колодца св. Филиппа, как отец тотчас сообщал нам,

что это дерево принадлежит не к виду Quercus robur, а к виду Quercus americana, который не надо смешивать с Quercus cerrys, дающим мохнатые желуди, один экземпляр которого произрастал среди тюльпановых деревьев (Lyrodendron, tulipiferus) строевого леса. Одуванчик, эдельвейс, тис, кипарис (я перечисляю наобум) все еще носят для меня латинские названия: Taraxacum dens leonis, Gnaphalium leontopodium, Taxus viridis, Cupressus lamberciana. Намек, историческое имя, брошенное в разговоре, — и вот наша мысль направлена к достославному прошлому семейства Резо, нашего Кранского края и Франции (в порядке значимости). Долой Мишле! Да здравствует Ленотр, Функ-Брентано и Гашот! Мы так близки к политике, мы почти касаемся ее, нам ее не избежать. Мсье Резо хотел воспитать благомыслящих сыновей. Энергичный удар тростью, гасивший светлячка и взметавший с аллеи гальку, подчеркивал в нужный момент доводы оратора. Чудовище, он же позор нашего времени, злой гений франкмасонства, носил имя Эррио, ведь этот человек имел наглость заявить на съезде партии радикал-социалистов, который нарочно был созван в благочестивом городе Анже, что на западе Франции сейфы зачастую запечатывают

облаткой святого причастия. Для моего отца радикализм представлял собой серьезную, но отвратительную систему взглядов французских торгашей. Не стоит уж и говорить о коммунистах или даже о социалистах; разве можно искать хоть какую-то обоснованность в политических воззрениях закоренелых воров и убийц? А как же иначе назвать этих людей? О партии, дорогой его сердцу, мсье Резо никогда не упоминал. Газета «Аксьон франсез»[11], с тех пор как ее осудил папа римский, исчезла из нашего дома. У нас читали только «Ла круа»[12], для которой мой двоюродный дед иной раз кропал передовицу.

Эта мешанина сведений преподносилась нам (надо признаться) на очень чистом языке, имевшем ценность хорошего соуса, — благодаря ему

---

[11] Примечания: 11

*Action française (буквально — «Французское действие») — монархическая политическая организация, возникшая во Франции в 1899 г. и просуществовавшая под этим названием до 1944 г. Опиралась на националистически настроенные круги армии и аристократии. Идеология «Аксьон Франсэз» подразумевала реставрацию монархии во Франции, создание корпоративного государства, национализм, строгую приверженность католицизму, упразднение системы департаментов и возврат к дореволюционному территориальному делению Франции.

[12] Примечания: 12

*«Ла Круа» («La Croix») — французская ежедневная утренняя газета христианского направления. Является одной из самых читаемых газет страны. Помимо религиозных сюжетов, газета предлагает читателям материалы о жизни во Франции и за рубежом, экономические и культурные новости.

мы легко проглатывали каждый кусочек и не боялись несварения желудка. Некоторый избыток сослагательного наклонения и наукообразная напыщенность претили мне. А кроме того, нам возбранялось прерывать лектора.

— Замолчи, я из-за тебя потерял нить рассуждений, — восклицал он.

Мы могли лишь позволить себе, когда отец переводил дыхание, задать почтительный вопрос или попросить каких-нибудь разъяснений. Отец отвечал (зачастую весьма уклончиво) только при условии, что вопрос не заключал в себе скрытого возражения. Затем он снова заводил свой граммофон и сыпал афоризмами.

Хороший тон, хороший вкус, хорошие манеры, право, каноническое право — всем именам существительным предшествуют прилагательные; хороший, хорошая, хорошие, или наречие хорошо, все суждения процензурованные («к печати разрешается»), все, что не попадало в энциклопедию недозволенного, в списки запрещенного, все почтенные прописные истины обретали в нем своего лучшего поборника. И тем не менее, можете не сомневаться, семейство Резо шло в авангарде науки и прогресса. Резо — это цвет нынешней интеллигенции, тормоз, регулятор,

предохранительный клапан современной мысли. Дворянство стало ненужной кастой, изменившей своей исторической миссии, и имеет ценность лишь в качестве лестных знакомств и для брачных союзов.

— Это никчемные люди, — говаривал отец и какими-то непонятными мне путями приходил к следующему горделивому выводу: — Наш род ведет начало от баронов Сент-Эльм и виконтов де Шербей.

Отец почему-то не видел, что и буржуазия тоже готовится изменить своей исторической миссии; он разделял ее на касты и подкасты, во главе коих, повторяем, шла наша буржуазия — «буржуазия высоко духовная», подлинная, чистая, опора Ватикана и патриотизма, соль земли, сливки избранных. В нее входило тридцать, ну, будем великодушны, самое большее — сорок семей. Ниже ее стояла буржуазия свободных профессий. И рядом с ней «финансовая буржуазия», в которую, к сожалению, входило и семейство Плювиньеков. (Подразумевалось: «Вы, мои собственные дети, в конце концов, являетесь лишь метисами этой разновидности».) Существует, наконец, «буржуазия коммерческая». Следовательно, и негоцианты относятся к буржуазии, однако к

низшему ее сорту. Вопрос о фармацевтах является весьма спорным. На худой конец, их можно еще принимать у себя, но недопустимо водить знакомство с бакалейщиками, даже оптовиками.

Народ! Существует также народ (грубое простонародье), которому наплевать на гуманизм, который пьет красное вино, не разбавляя его водой, у которого излишне волосатая грудь и дочери которого грешат со студентами… и вот этому самому народу радикалы предоставляют чрезмерную привилегию — столько же гражданских и политических прав на душу населения, сколько имеет любой из господ Резо, этот народ, обозначаемый по-латыни не populus, а plebs, эта бесформенная магма безвестных существ, от которых неприятно пахнет п*о*том, «народ» (слово произносится не совсем внятно — не то нарост, не то норд-ост) — этот народ надо рассматривать так же, как энтомолог рассматривает термитник, делая в нем ямки и срезы, не боясь при этом раздавить некоторое количество насекомых для вящего блага науки и человечества. Разумеется, надо любить народ и приходить ему на помощь, если он ведет себя разумно. Созыв конференций, посвященных благотворительной деятельности, посещение работных домов для женщин,

честность при расчетах с рабочими, составление назидательных брошюр, вязание теплых распашоночек для новорожденных, непреклонная строгость судебных установлений, снисходительность к провинностям солдат-новобранцев, социальное страхование, которому все-таки далеко до «касс взаимопомощи», право на забастовки, ограниченное законодательством о забастовках, приветливость в отношении к мелкой сошке: «Добрый день, голубчик!», стаканчик вина, которым угощают почтальона у порога кухни, вот допустимые виды заботливости о народе. Все прочее — большевизм.

Сообщив нам некоторые социальные истины, отец без перехода пускался в область научных истин, каковыми, конечно, не следует пренебрегать, хотя значение их весьма преувеличено. Мсье Резо восторженно восклицал:

— Убедитесь в дивной гармонии Вселенной! Как видите, я не боюсь цитировать этого ужасного Вольтера. Открывать законы природы и ставить их на службу благополучию человека, классифицировать, определять, как я это делаю с сирфидами, всевозможные растения и животных для установления пользы или вреда, которые они могут принести роду человеческому, ставшему

по воле божьей властителем земного шара, извлекать из своих познаний веские доводы в пользу диалектики веры, единственно подлинной науки, такова историческая роль нашего семейства. Если бы все люди стали искренними, если бы большинство из них не были жертвами обмана или сообщниками франкмасонов, они с радостью променяли бы все энциклопедии на богословие.

Подавленные этим красноречием, мы семенили рядом с отцом, а наш аббат следовал за нами на почтительном расстоянии. Некоторое время мы шли молча, размышляя над этими возвышенными и отвлеченными истинами. Но обычно у мсье Резо от его метафизики начиналась мигрень.

— Уже поздно, — говорил он вдруг, — идемте-ка спать.

И сливки избранных — Резо отец, Резо старший сын, Резо средний сын и маменькин любимчик Марсель — в сопровождении святого аббата низкого происхождения шли в усадьбу, прислушиваясь к зловещему хохоту лесных сов, досыта наевшихся полевых мышей.

XII

Психимора все не возвращалась из больницы. Возникли новые осложнения. Я не врач и не могу сказать, какие именно. Отца вызвали телеграммой, и он отправился в Анже, питая тайное намерение одним ударом убить двух зайцев: навестить больную и приобрести у своего придворного поставщика запас булавок и ящиков со стеклянными крышками. В тот же день, к вечеру, он вернулся домой вдвойне удрученный.

— Невозможно найти тонких булавок, — сказал он. — Не могу же я насаживать моих мушек на вязальные спицы! — Потом добавил без всякого перехода: — Бедные мои дети, мама очень плоха, возможно, она не протянет и недели. Я предложил ей…

— Собороваться перед смертью, — договорил за него аббат.

— Но она отказалась, сказав, что врачи ошибаются, что ей не так уж плохо и она скоро вернется домой. Я не хотел открыть ей всю правду насчет ее положения. Ну что ж, покойной ночи, я иду спать. Для успокоения разложу перед сном па-

сьянс.

Он вышел из комнаты в сопровождении аббата, искренне огорченного тем, что мадам Резо может умереть без соборования. А тем временем мы трое Фреди Рохля, Жан Хватай-Глотай, Марсель, по прозвищу Кропетт, поглядывали друг на друга с несказанным удовлетворением. Тени предков наших, закройте свои лица! Троих детей-извергов, на которых вы взираете из своих золоченых рам, вдруг охватил дикий восторг, они взялись за руки, закружились в бешеном хороводе и заорали во всю мочь, заскандировали:

Психимора подохнет,
Психимора подохнет,
Психимора подохнет!

Но вот дверь приоткрылась. В щелке показались усы. Отцовский слух оскорбили наши ликующие вопли: «Психимора подохнет».

— Тш!.. Тш!.. Старик вернулся! — зашипел Фреди.

Но дверь затворилась, и наше потрясенное трио услышало, как в коридоре замирают неровные шаркающие шаги, настоящие стариковские шаги.

Разумеется, Психимора не умерла. Ей сделали еще одну операцию. Характер этого нового хирургического вмешательства открыли нам лишь десять лет спустя: семейное целомудрие запрещало объяснять детям, что значит удаление обоих яичников. Мадам Резо, здоровье которой было подорвано, видела, как болезнь постепенно поражает ее органы. Но она с неизменной твердостью заявляла:

— Я не умру.

И в конце концов хирург подтвердил ее убеждение.

— Положение мадам Резо крайне тяжелое, и всякого другого на ее месте я считал бы обреченным. Но когда у человека такая воля, он еще может выкарабкаться.

Нам пришлось смириться с неизбежным… Она останется жива! Но мы делали подсчеты, строили догадки, сколько времени продлится выздоровление, которое шло медленно. Мы спешили воспользоваться передышкой. Отец со своей стороны тоже старался выиграть время. В отсутствие матери мы, по примеру Марселя Кропетта, принялись тянуться вверх и набирать сантиметры. Мы уже становились «взрослеными», как говорят дамы-благотворительницы при

посещении бедняков, ощупывая зарождающиеся бицепсы подростков, которые скоро смогут работать на благо супругов этих дам, владельцев промышленных предприятий. Психиморе будет нелегко справиться с такими сильными юнцами, какими мы стали.

— Поль следовало бы понять, что вести такой большой дом — непосильное бремя для выздоравливающей, — твердил отец своей сестре, графине Бартоломи, приехавшей на некоторое время помочь ему вести хозяйство.

— Почему ты не отдашь сыновей в коллеж, пока жена еще не вернулась из больницы? — отвечала тетушка, подходя к главному вопросу окольным путем, как того требует хороший тон.

— Содержать их в иезуитском пансионе очень дорого, Поль об этом и слышать не хочет.

— Неужели ты не имеешь никакой власти над женой? — восклицала в конце концов графиня, затрагивая самую суть дела.

Мсье Резо живо отклонился в сторону:

— Дорогая, по брачному контракту мы сохраняем раздельное владение имуществом, и приданое Поль целиком ей принадлежит.

Так никакого решения и не было принято.

Нет, будем справедливы и отметим, что одно

решение все-таки было принято. Мсье Резо пригласил в «Хвалебное» своих коллег энтомологов. Нужно было срочно разрешить назревшие вопросы. Stretomenia sinensis была в один и тот же месяц описана моим отцом под этим наименованием, а профессором Чадноуном под названием Stretomenia orientalis. Какое из этих двух названий войдет в международную классификацию? Равным образом было необходимо установить справедливую систему при обмене насекомыми.

— Чадноун осмелился прислать мне десяток самых обыкновенных дрозофил в обмен на экземпляр редчайшего Arulae! И что за радость для меня, специалиста по сирфидам, получать бразильских бабочек, которых эти дураки португальцы не умеют и разложить как следует. Боюсь даже, что они подстреливают их из пистолета!

Были приглашены профессор Чадноун из Филадельфии, аббат Рапан из Мехелена (Бельгия), Ибрагим-паша из Каира и сеньор Бишо-Рокоа из Сан-Паулу. Все они изучали диптеров, то есть двукрылых насекомых. Но Чадноун главным образом занимался блохами («Запомните, дети, не травяными вшами и всякими тлями, которые, как известно, относятся к отряду жесткокрылых»). Аббат Рапан исследовал долгоножек — лжепа-

уков, которые скользят по поверхности воды. Ибрагим-пашу интересовали москиты, которые были и остались одной из казней египетских. А сеньора Бишо-Рокоа привлекали табаниды, в отряд которых входят все разновидности слепней. Разумеется, мсье Резо пригласил и других выдающихся специалистов по диптеридам, но приехали только те, кто не был стеснен в средствах, или же те, кто воспользовался удобным случаем, как, например, Бишо-Рокоа, экспортировавший для французского военного интендантства сыромятную кожу, из которой после обработки шили солдатские башмаки.

Ибрагим и Бишо заглянули к нам только проездом. Первый говорил лишь по-арабски и по-латыни, а второй мог изъясняться и на ломаном английском языке. Оба были важные господа и неважные ученые, что весьма разочаровало отца.

— Ибрагим, — говорил он, — интересуется москитами лишь в надежде заслужить благоволение своего правительства. Он знает только средства истребления москитов и не способен описать по всем правилам какой-либо экземпляр насекомого! То же самое можно сказать и о Бишо-Рокоа: для него табаниды являются прежде всего жалящими

насекомыми, которые портят у скота шкуры и тем самым снижают его рыночную стоимость. Ни тот, ни другой не обладают бескорыстием истинных ученых. А я люблю чистых теоретиков…

В этом отношении профессор Чадноун вполне его удовлетворял.

Наша боярышниковая настойка и домашний сыр, изготовляемый фермершей Жанни Симон, вероятно, ненадолго удержали бы его у нас, но однажды вечером, когда мы отправились прогуляться к мосту, какой-то маленький зверек, бежавший по дорожке, свернулся клубком при нашем приближении.

— О! — воскликнул американец. — Это кролик?

— Нет, — ответил отец, — это не кролик, это еж.

— Еж? — задумчиво повторил американец.

Вдруг профессор повернул назад и стрелой полетел к дому. Мы стояли растерянные и молча ждали его, догадываясь, однако, что он затеял какой-то опыт. Кончиком палки мсье Резо шевелил ежа, но тот благоразумно не разворачивался и лишь изредка поглядывал одним глазком на наши башмаки. Этот ежик принадлежал к разновидности «свиных пятачков» в отличие от так

называемых «собачьих носов»; крестьяне пекут этих «пятачков» на костре, обмазав их глиной. Вскоре профессор Чадноун примчался обратно, держа в одной руке пузырек с эфиром, а в другой — ночную вазу из своей комнаты.

— Черт возьми! Что вы собираетесь делать?

Но Чадноун, сверкая от волнения глазами и перекатывая во рту, как жевательную резинку, какие-то английские слова, осторожно закутал ежа в свое кашне, чтобы не уколоться, и положил его на дно вышеупомянутого сосуда. После чего он без колебаний вылил ежику на нос весь эфир из пузырька и надвинул на горшок крышку.

— Бедное животное! — возмущенно сказал аббат, не доверявший протестантам.

Филадельфийский профессор выждал минуты три, не удостоив объяснить нам свое странное поведение, потом снял крышку с горшка, где лежал усыпленный еж со свиным рыльцем. Затем американец вынул из кармана пинцет и склонился над своей жертвой. Фарфоровые стенки сосуда были испещрены черными точками.

— Блохи! — воскликнул отец. — Он заинтересовался блохами ежа!

Тайна сразу рассеялась: профессор хотел обогатить свою коллекцию. Оказывается, каждому

виду ежей свойственны свои особые блохи. Блохи европейских ежей отсутствовали в коллекциях Филадельфийского энтомологического музея. Блохи оказались так малы, что их не удалось насадить на булавки, и поэтому их немедленно наклеили на кусочки сердцевины бузины. А ежик, возвращенный на лоно природы, вероятно, часа через два очнулся, освободившись от всех своих блох, вплоть до ближайшего часа любви.

Чадноун уехал, великодушно признав за отцом приоритет в определении Stretomenia sinensis (в наименовании которой отныне и до скончания веков будет указываться в скобках: Жакобус Резо, 1927). Его сменил великий знаток долгоножек — аббат Рапан из Мехелена. Этот Рапан — преподаватель риторики в одном из валлонских коллежей — страдал многословием и ожирением. Погода на рождественских каникулах, которые он нам посвятил, выдалась суровая: снег упорно не таял — явление довольно редкое в наших краях. Закутавшись в пуховый шарф и надев две теплые сутаны на вате, толстяк явился к нам без всякого предупреждения: мы не поехали встречать его в Сегре на станцию, и ему пришлось протопать шесть километров.

— Такая прогулка, знаете ли, весьма полезна

для здоровья! — заявил он, счищая грязь со своих башмаков. — Но для энтомологов зима — плохое время года! Долгоножки не бегают по льду.

Появление преподобного отца Рапана было великой честью для нашего старого дома и его хозяина. Теперь нас осчастливили двумя ежедневными мессами: одну служил наш аббат, а другую — отец Рапан. Конечно, мы не могли из вежливости увильнуть. Впрочем, бельгиец каждый раз платил тому из нас, кто исполнял роль причетника, по два франка за службу. Из-за этого гонорара у нас возникли серьезные разногласия. Фреди, терпеливо выслушивавший энтомологические разглагольствования профессора риторики и тем снискавший его расположение, решил присвоить себе монопольное право прислуживать за мессой. Доход с «паучиной мессы» он предпочитал остаткам вина от «мессы по желудям». (Так мы прозвали ее потому, что наш аббат-воспитатель всюду сажал желуди старого дуба семейства буковых. Не будучи любителем вина, он никогда не допивал полагавшуюся ему за мессой чашу.) Наши с Фреди разногласия были разрешены на совещании, состоявшемся у меня в спальне: Фреди будет вносить шестьдесят процентов своих благочестивых чаевых в тайную

кассу, которую мы основали, предвидя близкое возвращение Психиморы.

Это решение «картеля мальчишек», в котором, как и во всех политических организациях, наиболее энергичными оказались левые элементы (в данном случае — я), было не единственным, принятым на нашем митинге, имевшем более широкие и далеко идущие цели. Решив дать отпор наступлению, которое Психимора, несомненно, поведет против наших свобод, мы официально создали единый фронт. В него входил и Кропетт, а также Жан Барбеливьен, сын арендатора фермы, прилегавшей к усадьбе. Жану угрожала опасность лишиться весьма ценного для него права разделять наши игры (малолетний мужлан получил такую привилегию с тех пор, как, желая мошенническим способом пробраться к образованию, вдруг почувствовал неодолимое призвание к сану священника). Мы могли рассчитывать также на нейтралитет нашего аббата и на сочувствие Фины. Подобно коалициям левых партий, наш картель был довольно разношерстным и в первую очередь заботился о своей выгоде.

Вопрос продовольствия являлся для нас основным. Жан Барбеливьен обещал таскать для нас яйца из курятника родительской фермы. Не

имея возможности зимой ловить в речке рыбу и покупать на свою выручку мясные консервы, я изыскивал другие способы добывать деньги. Каждое утро, на рассвете, я тихо-тихо выходил из дому, вооружившись папиным охотничьим карабином, у которого выстрел был не громче щелканья кнутом, за что его обычно и принимали. Спрятавшись в кустах, я поджидал кроликов, которые еще в сумраке выходили из нор и отправлялись на капустное поле. Деньги, яйца, варенье — все складывалось в «сейф», уже давно устроенный между крышей и покатым потолком моей мансарды. Карниз прикрывал вход. В «сейфе» же хранилось некоторое количество старых ключей и «Декларация прав», составленная Фреди по образцу «Декларации прав человека и гражданина» и скрепленная подписями четырех членов нашего сообщества.

Вот в каком умонастроении мы находились, когда вопреки предостережениям врачей мадам Резо выписалась из клиники и нежданно-негаданно нагрянула домой, приехав из Анже в автобусе, который с недавних пор совершал эти рейсы и специально для нее остановился у белой изгороди «Хвалебного». Мы как раз сидели за ужином. По коридору застучали каблуки, шаги

Психиморы мы узнали бы среди тысяч других. Дверь распахнулась, и, мгновенно подтянувшись, мы сели, как подобало по правилам.

— Вы приехали одна, но это же безумие, Поль! — растерянно залепетал отец, побледнев не меньше нашего.

Психимора усмехнулась и вместо ответа закрыла масленку крышкой.

XIII

Психиморе пришлось туго. Ее первая же лобовая атака провалилась.

— Жак, дети совершенно не считаются с границами отведенного для них участка.

Однако отец стойко защищал свои передовые позиции:

— Я сам разрешил им гулять по всему парку. Что поделаешь, дорогая! Они почти уже взрослые. Вам пора понять, что это действительно так, несмотря на вашу поразительную моложавость.

Нашей мегере пришлось удовольствоваться этим комплиментом. В тот же день вечером, после молитвы, когда мы, поднявшись с колен, отряхивали брюки, она вновь выразила удивление:

— Как? Вы отменили публичную исповедь?

На этот раз вмешался аббат:

— Мадам Резо, доверьтесь моему сану и не толкуйте слишком поспешно догматы. В возрасте ваших сыновей необходима духовная свобода.

Вне всяких сомнений, Психимора столкнулась с настоящей коалицией. Она поняла это, но

заупрямилась. Как я уже говорил, она была не очень умна и поэтому, при всей твердости своего характера, не сразу находила доводы в пользу своих властолюбивых требований. Увидев, что Жан Барбеливьен играет вместе с нами на переменках, Психимора подняла крик:

— Нет, нет и нет! Я не желаю, чтобы мои дети якшались с мужиками!

И снова аббат самоотверженно вмешался:

— Мадам, маленький Барбеливьен намерен посвятить себя служению господу богу. Мы с мсье Резо полагали, что его общество полезно для ваших детей. Я сам младший сын фермера и некогда тоже пользовался таким же вниманием знатной семьи в наших краях…

— Прекрасно, — оборвала его Психимора, — я не знала этого. Но я хочу спросить вас кое о чем другом. Откуда берется мясо, которое дети едят за полдником? Я им не давала мяса.

— Кажется, Жан продает фермерам рыбу.

— Это еще что за торговля? И кроме того, каким образом он может зимой ловить рыбу?

— Вероятно, он продает и дичь.

— Как! Мой сын занимается браконьерством! Этого еще недоставало!

Мсье Резо встревожился и потребовал у меня

объяснений. Я откровенно рассказал ему все.

— В общем, чертенок, ты таскаешь у меня патроны и под носом у моего сторожа стреляешь моих же кроликов?

Я не отрицал этого. Психимора возомнила себя победительницей. Но отец, матерый охотник, признал во мне свою кровь и, гордясь моей меткостью, стал еженедельно давать мне по шести патронов при условии, что я буду отчитываться в каждом выстреле.

Мать не решилась настаивать на своем. С десяток пощечин пропали даром, у нас от них даже щеки не покраснели. И тут Психимора поняла наконец, что ей необходимо применить иную тактику.

Ее поведение постепенно изменилось. Она стала не то что уступчивей, но по крайней мере молчаливей. Конечно, ей уже не удалось бы вернуть то, что мы выбросили за борт, но важнее всего для нее было вновь взять в руки бразды правления. Возродив в Кранских болотах политику Альбиона, Психимора, желая поработить своих домочадцев, прибегала к бессмертному принципу: разделяй и властвуй, который стал залогом преуспеяния Англии.

Первым был обезврежен маленький Жан Бар-

беливьен. Мадам Резо предложила, чтобы этот «благочестивый ребенок» стал отныне официальным учеником нашего аббата.

— Полагаю, что это хорошее дело. Не правда ли, господин аббат? — сказала она, изобразив на своем лице самую умильную улыбку (номер первый из ее ассортимента — улыбку ангельскую, обычно озаряющую воспитанниц приюта после причастия).

Отец и аббат № 6 поддались на удочку. Лишенные дипломатического нюха, они учуяли в намерении Психиморы лишь аромат святости. Аббат воскликнул в волнении:

— Совершенно верно, мадам Резо, это хорошее, очень хорошее дело!

Отныне маленький Жан попал под власть нашей мегеры, которая одним-единственным словом могла разрушить все его честолюбивые надежды получить образование, и он перестал таскать для нас яйца из курятника, отказывался выполнять наши рискованные поручения. Все же Психиморе не удалось сделать из него доносчика. Мальчик не хотел нам вредить: ведь мы могли выдать его тайные намерения стать в будущем попом-расстригой.

Что касается Фины, выказывавшей слишком

явную симпатию к нам в отсутствие хозяйки и, по ее мнению, бессовестно расточавшей для нас содержимое шкафов, тут мадам Резо пыталась прибегнуть к подкупу, но тщетно. Обещание прибавки к скудному жалованью не привлекло глухонемую старуху в лагерь Психиморы. Фине наплевать было на деньги, к чему ей они? Тогда Психимора взяла другой прицел и вздумала ее выгнать. Напрасные старания! Отец яростно воспротивился: все члены семейства Резо замучили бы его жестокими упреками. Альфонсина была священной принадлежностью «Хвалебного». Впрочем, ее нисколько не взволновала угроза увольнения. Старуха знала, что заменить ее не так-то просто. Ни одна прислуга не прослужила бы и недели под командой мадам Резо.

Неугомонная Психимора принялась за Кропетта и стала делать ему всяческие авансы. Несмотря на свои малые способности к рукоделию, она принялась вязать для него фуфайку и кроить ему фланелевые брюки. Противный рыбий жир был заменен сладким йодистым сиропом. Наконец, подготовив почву постоянными разговорами о его блестящих успехах в занятиях и своих надеждах увидеть его в будущем студентом Школы гражданских инженеров, она приказала:

— Пусть Марсель сразу сдаст за два класса. Он на редкость способный мальчик. Мы, таким образом, выиграем один год, и это будет для него очень ценно, когда он поступит на подготовительное отделение.

Аббат остался очень доволен. Работа его, таким образом, упрощалась. Я выглядел дураком, ведь меня догнал в учении младший брат, но ничего не поделаешь! Кропетт принял эту новую милость спокойно, с достоинством, как нечто заслуженное. Марсель нисколько не обманывался на счет расположения к нему мамаши — самое горячее ее внимание не могло идти ни в какое сравнение с заботливостью нормальной матери, которая действительно печется о благополучии и счастье своих детей. Он знал также, что под нашей «Декларацией прав» красуется и его подпись. Использовать обе стороны, быть желанным в обоих лагерях — такова была его политика. Матери он дарил тихие улыбки. А нам — клятвы верности. Для его душевного спокойствия я дал ему благословение от имени нашего тайного картеля:

— Не отталкивай зря Психимору, ты можешь быть нам полезен. Предупреждай нас, если она тебе сообщит что-нибудь важное для нашей «на-

циональной обороны».

Двойной лазутчик Кропетт сперва оказывал нам услуги. Так, например, он вовремя предупредил нас о подготовлявшемся генеральном обыске в наших владениях — мать уведомила его заранее, не желая обнаружить у него что-нибудь запретное. Благодаря ему я принял необходимые меры предосторожности и перенес на чердак содержимое нашего «сейфа». Обыск не дал никаких результатов, и от избытка осторожности. Я спрятал большую часть наших сокровищ в спальне Фреди, так как она тоже находилась в мансарде и там можно было устроить такой же тайник, как у меня. Об этом перемещении мы ничего не сказали Кропетту. Его лояльность, косившая влево — на нас и вправо — на мать, требовала неусыпного присмотра.

Итак, в течение двух месяцев оба лагеря следили друг за другом. Великая держава Психимора окружила себя на некоторое время мелкими государствами и трепещущими нейтралами. Но такое положение не могло длиться вечно. Слащаво улыбавшаяся мегера по-прежнему искала какую-нибудь уловку, какой-нибудь случай. И случай этот предоставил ей папа.

Отец считал, что теперь ему разрешено дышать

свободно.

— Нет никакого сомнения, Тереза, — говорил он своей сестре, графине Бартоломи, приехавшей погостить под нашим кровом, — нет никакого сомнения, плохой характер моей жены имел чисто физиологические причины. После операции она преобразилась. Разумеется, она как была, так и останется немножко колючей, но все-таки жить с ней теперь можно.

— Только бы так продержалось, — отвечала тетушка, бессознательно перефразируя изречение матери Наполеона — Петиции Рамолино.

«Так продержалось» вплоть до Пасхи. За несколько дней до праздников отец получил письмо от одного из своих старых шанхайских приятелей, который пригласил его к себе погостить недельки на две. Этот бывший колониальный чиновник, недавно возвратившийся из Китая, — благоденствующий престарелый вдовец, обладатель знатного имени, большого состояния, любимой дочери, старинного замка в Жере и множества орденов, — словом, граф де Поли, искал для себя новой вывески и полагал, что обрел ее в энтомологии. Однако он колебался между жесткокрылыми, полужесткокрылыми, чешуекрылыми, сетчатокрылыми, прямокры-

лыми и перепончатокрылыми насекомыми. Необходимо было положить конец его увлечению паукообразными, ибо дочь его сообщала в письме, приложенном к отцовскому посланию, что граф де Поли запретил слугам обметать щетками пыль с потолков и снимать паутину. Мсье Резо, снедаемый христианским состраданием, за завтраком спросил при нас мнение Психиморы.

— Мы могли бы, — сказал он, — взять с собой старшего сына, а младших оставить под присмотром Вадебонкера.

Психиморе не улыбалась разлука с «Хвалебным». Для нее достаточно было и первого печального опыта.

— Даже и речи не может быть о такой поездке, друг мой, это слишком для меня утомительно.

— Радуюсь твоему благоразумию, — сказал отец, перед которым забрезжила надежда на приятное холостяцкое путешествие. — Но кого же мне взять с собой?

— Надо подумать, — осторожно ответила Психимора; она давно все обдумала, но вовсе не стремилась обнаружить свои батареи.

Свое решение она сообщила лишь на следующий день за завтраком согласно обыкновению за столом сообщались все новости, хорошие и

плохие (плохих бывало обычно больше, чем хороших).

— Марсель сейчас не очень здоров, — сказала Психимора. — Я не могу разрешить ему эту поездку, хотя он заслуживает ее больше всех.

Вздернутый нос Кропетта вытянулся.

— Я вознагражу тебя чем-нибудь другим, бедняжечка.

Отец просиял. Фреди яростно высморкался и, как всегда, вытер нос справа налево. Я прекрасно понимал маневр Психиморы, но возможность удрать из дому на две недели усыпила мои опасения. После нас хоть потоп! Только аббат, казалось, был не слишком спокоен.

— Мне думается, следовало бы дать господину аббату отпуск на несколько дней, он вполне заслужил его за свою преданность детям, — продолжала Психимора. — У вас, кажется, есть родственники в Нормандии?

Аббат сразу повеселел и охотно принял предложенный отпуск. Итак, кроме Марселя, все остались очень довольны. Заметьте, Психимора не сказала: «В Жер с отцом поедут Фреди и Жан». Эта незаслуженная милость лишь подразумевалась. Хотя уступка Психиморы была ловким политическим ходом, у нее не повернулся язык

объявить о ней открыто.

Эти мелкие подробности меня не трогали. На перемене, желая вдохнуть воздух предстоящей нам свободы, я взобрался на верхушку тиса, моего любимого дерева в парке, откуда открывался вид на все «Хвалебное».

XIV

Нет, Психимора, тебе не удастся отравить нашу радость. Напрасно ты пыталась остричь нас наголо перед отъездом. Папа решительно воспротивился. Правда, я стоял перед ним весь красный, с перекошенной физиономией, а он уже начинал побаиваться меня: этот забияка, того и гляди, выкинет какой-нибудь фортель! Нет, Психимора, придется тебе отказаться от кое-каких мелких преследований, мы их не потерпим. Зачем ты тайком удлинила брюки у новых костюмов, которые отец подарил нам, желая, чтобы сыновья были достойны его? Я немножко умею шить и сегодня же вечером восстановлю на брюках отворот. Зачем ты дала мне галстук, который по расцветке никак не подходит к костюму? Я не стану просить отца купить мне другой галстук, это бесполезно, он пошлет меня ко всем чертям, но Фреди подпустит нелестное замечание по поводу моего «ошейника», и тогда отец, воспользовавшись этим предлогом, постарается утвердить свою власть и проявить хороший вкус, а я окажу такую же услугу старшему брату, намекнув, что у

него стоптанные башмаки.

Но вот наконец настал час отъезда. Ни за что на свете, дорогая мамаша, ты не изменишь свой план, но, надо признаться, начало его дается тебе нелегко. Ну что ж, изобрази поскорей на лице милую улыбку и постарайся сыграть fair play.[13]

Отец принарядился. Каким-то чутьем я угадал, что он не совсем равнодушен к дочке графа де Поли. Папаша выглядит почти элегантным, он надел костюм темно-серого цвета с синеватым отливом (как у шифера, которым изобилует Кранэ). Правда, мне не очень-то нравится его булавка для галстука, унаследованная от деда, — золотой кабан с рубиновыми глазками. Но вот чудо, вместо башмаков у него на ногах изящные полуботинки.

— Фу, черт! — ворчит он. — Я себе вывихну лодыжки в этих модных туфлях!

Наконец-то папа садится в автомобиль, куда мы с Фреди уже успели забраться (не получив на прощание обычное крестное знамение, заменявшее материнский поцелуй и оставлявшее на лбу красные полоски от ее ногтей). Машина трогается, но она плохо повинуется неопытному

---

[13] Примечания: 13
Честность, прямота (англ.).

водителю, он, пожалуй, никогда не научится переводить скорость. Через заднее стекло я наблюдаю за Психиморой: она старается держаться прямо, как до болезни, но это удается ей лишь с большим трудом. Кропетт уже направляется к крыльцу развинченной походкой, что является у него признаком глубокого недовольства. Одной рукой аббат вытаскивает из кармана носовой платок с образками, другой — благословляет нас. Счастливо оставаться, до свидания!

Дорога на Анже отвратительная. Бесконечные живые изгороди закрывают горизонт. Через каждую сотню метров — шлагбаум, на котором в качестве противовеса привязан тяжелый камень. На каждом шлагбауме белой краской обозначены инициалы землевладельца, иногда они повторяются на протяжении нескольких километров и напоминают нам, что мы находимся в почти феодальном краю. За изгородями видны цветущие яблони, поля, засеянные рапсом, которые скоро покроются канареечно-желтыми цветами, на полях крестьяне в плисовых куртках. Бесчисленные перекрестки, о которых предупреждают дорожные знаки в виде желтых треугольников. Кажется, что по выбитым проселкам, которые разбегаются от перекрестков, проложены рельсы,

но это лишь обман зрения — просто глубокие колеи, наполненные до краев водой.

— Почему вы молчите, дети? Уже заскучали по дому?

— Ну, об этом и речи быть не может, — ответил Фреди.

Папа улыбнулся и промурлыкал:

— Где же лучше может быть, чем в родной семье!..

Затем добавил басом:

— Да где угодно, в любом другом месте!

Для человека со вкусом это большая бестактность, ну как бы сказать, получилось вроде слона в посудной лавке. Но так уж всегда бывает у нашего бедного старикана, когда он пытается установить товарищеские отношения со своими сыновьями. Он явно перебарщивает, и сыновьям становится неловко. Никогда не знаешь, как себя вести с этим Юпитером, когда возле него нет Юноны, которая готовит для него громы и молнии. Подъезжаем к Анже, где столько соблазнительных витрин, и тут Фреди выступает в заранее условленной роли:

— Какой у тебя мерзкий галстук, Жан. Неужели не мог надеть другого?

— Ну и что! Не к принцу Уэльскому едем. А ты

сам-то хорош, лучше бы уж помолчал! Посмотри на свои опорки!

Мсье Резо окидывает нас внимательным взглядом и заключает:

— Никогда вы не сумеете прилично одеться! Все, что нужно, купим в Анже.

Анже. Пятиминутная остановка. Собор Сен-Морис времен Плантагенетов. Дом Адама. Равное количество монахинь и шлюх. Студенты, Солдаты-новобранцы. Ангел, венчающий памятник жертвам войны, как будто играет в чехарду. Город благомыслящий. Внесем поправку: город, мыслящий о «благах». На тротуарах или набережных Мен старайтесь держаться правой стороны.

Мсье Резо вытаскивает бумажник, входит с нами в магазин «Дам де Франс» на Эльзасской улице (до чего же эти названия ласкают слух). Наспех покупаем синий галстук для меня и желтые ботинки для Фреди — он настоял на желтых ботинках, хотя отец и убеждал его, что черные ботинки гораздо элегантнее.

Программа у нас обширная. Ведь мы едем в Жер не только для того, чтобы привлечь графа де Поли в стан поклонников двукрылых насекомых. Проездом мы должны еще собрать важные сведения о некоторых наших предках, самых именитых

разумеется, ибо о всех прочих беспокоиться не стоит. С некоторых пор мсье Резо пристрастился к науке, прославленной геральдистом Пьером д'Озье, — с тех пор как открыл в одном из томов «Генеалогии», что наш род ведет начало от баронов де Шербей, а другим нашим предком был мессир де Тантон; человек с этой странной фамилией имел право на удивительный герб: на лазоревом, поле два с половиной цветка лилии. Какая волнующая загадка! Несомненно, де Тантоны получили от короля этот необыкновенный герб, когда один из их отпрысков был королевским оруженосцем и прикрывал в бою щитом своего повелителя… Конечно, это только предположение, но весьма вероятно, что он участвовал в битве при Бувине[14]. Возможно, де Тантон защитил короля от смерти. Вероятно, спасая короля, он сам получил роковой удар, разрубивший цветок королевской лилии на щите, и благосклонный повелитель пожелал увековечить память о подвиге своего оруженосца. Непочтительный Фреди утверждал, что дело тут не в королевской лилии,

---

[14] Примечания: 14

*Битва при Бувине — сражение 1214 г. в ходе фламандской кампании англо-французской войны (1202–1214) между войсками французского короля Филиппа II Августа и англо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой императором Священной Римской империи Оттоном IV. Завершилась победой французов и усилением королевской Франции.

а в королевской постели. Во всяком случае, в этой истории замешан король. Но мы, Резо, потомки де Тантонов, все-таки не дворяне, невзирая на наш герб (золотой лев на червленом поле), и при Людовике XVI мы были записаны как буржуа, несмотря на наши родственные связи с влиятельными людьми Французского королевства, неожиданно превратившегося в Республику.

Согласно нашему маршруту, тщательно нанесенному синим карандашом на карте в путеводителе Мишлена, мы посетили некоторых боевых товарищей отца. Кстати, я забыл сказать, что он был на войне и участвовал в сражениях. В начале войны он был признан негодным к службе по общему состоянию здоровья, но в таких случаях представитель фамилии Резо немедленно идет в армию добровольцем и, добавим, не окапывается в интендантстве. Итак, мсье Резо воевал и был награжден орденом. От боев под Верденом у него остался ужас перед вшами (этими ложнохоботными!), известная терпимость к «Марсельезе» и к фривольной песенке «Мадлон» и, наконец, достославная рана — предмет его непомерной гордости. Он получил ранение в спину обстоятельство весьма досадное для солдата-добровольца, скажем больше, подлое невезение: ведь

нашего героического отца ранила вражеская пуля, когда немцы вели настильный огонь, а он ползком подбирался к немецкому пулеметному гнезду, и его спина как бы первой шла в атаку.

Я рассказываю все это сумбурно, так что получается окрошка. Но не считайте меня путаником. Отец в энный раз рассказывает нам о своем военном прошлом с различными вариантами, добавлениями и подробностями; в то время как наша малолитражка продолжает свой путь к Дуэ-ла-Фонтен, к первому этапу наших генеалогических изысканий.

В полдень мы позавтракали на травке при въезде в деревню. Мадам Резо дала нам на дорогу крутые яйца, вареные бобы и картошку в мундире (кстати, возражаю — надо говорить не в «мундире», а в «полевой форме»). Она снабдила нас провизией дня на три. Из экономии. Желая испортить нам удовольствие от поездки. Кроме яиц, все оказалось несъедобным: Фина не пожалела соли.

— Нынче вечером мы пообедаем в трактире, — объявляет отец, который любит это старинное слово, и тотчас же добавляет в нашем стиле: — Фина подсунула нам какую-то гадость.

Он не уточняет: «по распоряжению вашей ма-

тушки», но сам наталкивает нас на эту мысль. Стоит ли говорить? Мы находим его намек довольно подлым. Нельзя так легко отрекаться от тех порядков, которые ты сам так долго поддерживал своим авторитетом.

Нелегкое дело — рыться в реестрах актов гражданского состояния, да еще добиться, чтобы вам выдали самые старинные из них, получив на то разрешение у секретаря мэрии: ведь известно, что эти секретари по большей части учителя, а следовательно — коммунисты. Фамилия Резо и визитная карточка отца не всегда на них действуют. Иногда приходится обращаться к самому мэру или его заместителю, подробно объяснять суть дела этим тупым и подозрительным крестьянам; угадывать, кто из них ждет чаевых, а кого чаевые могут оскорбить. Мсье Резо, надо признать, удачно справлялся с этими трудностями.

Секретарь мэрии Дуэ-ла-Фонтен очаровал нас с первой же минуты. Он носил бородку клинышком, пенсне и крахмальный воротничок с отогнутыми уголками, на манер Тафарделя из Клошмерля. Но видно было, что он относится с почтением к существующему строю.

— Весьма приятный человек, — решил отец, — и его, беднягу, нарочно держат в этой дыре

— только потому, что он не франкмасон.

Битых три часа мы разбирались в каракулях покойных приходских священников Дуэ. Мы натолкнулись на нескольких наших предков, и в частности на некоего Луи Резо, несколько раз признававшего себя отцом незаконнорожденных детей. Папа стыдливо спешил перевернуть страницу и искал более торжественных записей, со сложными завитками и росчерками в подписях, как оно и подобает буржуа, или же с подписями резкими, точно удар шпаги, подобающими конюшим и другим сеньорам («Его вельможное перо бумагу рвет зело»), или же, наконец, с неуклюжими крестами вместо подписей, простыми и грубыми, как существование тех самых крестьян, которые их начертали.

Каким бы суетным делом ни было составление генеалогического древа, на котором всегда окажется много засохших ветвей (дерево-то росло давным-давно, и логичнее было бы назвать его «генеалогическим корнем»), каким бы суетным делом ни были поиски и более или менее подтасованное установление предков, я не слишком презираю эту невинную игру. Меня интересует происхождение моих двадцати четырех пар предков, передававших мне в наследство свои

хромосомы. А главное, роясь в этих старинных записях, испытываешь какое-то особое чувство, словно на твоих глазах происходит чудо воскрешения Лазаря. Метрика о рождении людей, умерших в XVII веке (даже могилы от них не осталось), как будто частично возвращает их к жизни. В то время как мой отец, повинуясь беспокойному инстинкту коллекционера, делал множество выписок, накалывал даты, ловко орудовал сачком во времени и пространстве, я любил пройтись после него по страницам метрической книги, выбрать какое-нибудь имя (имя, полученное при крещении по воле родителей) и затем проследить за ним в дальнейших записях. Иногда след прерывался сразу же — какой-нибудь мор вычеркивал это имя вместе с именами множества других. А иногда заинтересовавшее меня имя попадалось в двух, трех и десяти записях, гласивших, что мой избранник был крещен, обвенчан по первому браку, обвенчан по второму браку, был отцом нескольких детей, восприемником от купели чужих детей, свидетелем при бракосочетании своих приятелей и, наконец, скончался, «сподобившись получить напутствие святой матери нашей церкви». Пусть история человечества пренебрегает этими скромными

именами, оставшимися безвестными наподобие миллионов кровяных шариков, питающих наше тело. Но ни история больших или малых событий, ни даже романы, при всей точности и колоритности их повествования, не могут передать черты подлинности, благоухание засохших цветов, которые некогда были живыми. Заметим, кстати, к иным метрикам бывают приклеены засушенные цветы двухсотлетней, трехсотлетней давности, и как раз в Дуэ-ла-Фонтен мне попалась метрическая запись о рождении некой Розы-Мариэтты Резо, дочери именитого горожанина Клода Резо и Розы Тогурдо…

— Это не интересно, — сказал отец. — Я проследил записи. Она умерла шестнадцати лет от роду в холерный год.

Да, Роза-Мариэтта, моя юная прапрабабка, умерла шестнадцати лет. Она скончалась двести восемнадцать лет тому назад, но метрику о ее рождении все еще украшает лепесток розы; этот лепесток приклеила ее мать, которая, несомненно, была неграмотной и не могла поставить на метрике свою подпись и все же подписалась лучше многих других матерей и уж наверняка лучше, чем подписалась при моем крещении Психимора, такая специалистка по замысловатой

клинописи.

Как вам известно, я иной раз грешу кощунством: лепесток розы я унес с собой. Ни один влюбленный не мог сохранить его лучше, чем я. Я нашел для него надежный тайник: спрятал в своей ладанке между лоскутком полотна «от сорочки св. Терезы из монастыря младенца Иисуса» и образком, напечатанным на фланели, якобы пропитанной потом Богоматери Семи скорбей.

Из Дуэ-ла-Фонтен мы еще успели в тот же день съездить в Вийе, порыться в старых пыльных церковных книгах, а затем побывать с той же целью в Тремантине. В восемь часов без четверти секретарь тремантинской мэрии вежливо выставил нас за дверь, и ночевать мы отправились в Шоле.

Два следующих дня мы, с переменным успехом, продолжали свои генеалогические изыскания в Де-Севре и Вандее. К вечеру третьего дня, расставшись с этими краями, где нам посчастливилось разыскать наших предков, покоившихся в саванах из пожелтевших листков метрических книг, мы покатили по лесистой Шаранте, зажатой между другой Шарантой (Нижней, а вернее бы сказать, Приморской) и грибной, трюфельной Дордонью. Обязательным этапом был Монтан-

во-сюр-ла-Дрон, где приходским священником состоял человек по имени Туссэн Тамплеро.

— Этот молодец спас мне жизнь, когда я был ранен во второй раз между нашими и немецкими окопами, — говорил наш отец, — он взвалил меня на спину и перенес к своим.

Аббат Тамплеро вполне заслуживал наименование «молодец». Около восьми часов вечера, когда мы подъехали к церковному дому, отворилась дверь, и человек саженного роста схватил в объятия нашего отца. Вид у отца был весьма взволнованный, таким образом, мы обнаружили новое свойство его души. Как ухитрялся он в течение стольких лет подавлять дружеские привязанности, столь, по-видимому, глубокие?

— Дружище Тамплеро! — восклицал наш говорун, вдруг растеряв все слова.

— Ах ты чертов Жак! — отвечал кюре столь же красноречивым возгласом. — Это твои малыши?

Мне уже стукнуло четырнадцать лет, а Фреди пятнадцать с половиной, и мы готовы были оскорбиться, да не успели. Тамплеро подхватил нас по очереди под мышки и, поднеся к своим устам, наградил обоих звучными поцелуями. Этот священник совсем не походил на наших наставников аббатов, чья нежность к нам огра-

ничивалась «поцелуем мира» в торжественные дни, попросту говоря, прикосновением к нашим лицам плохо выбритой щеки.

— Зайдемте в дом, — пригласил Тамплеро. — Угощенье у нас, конечно, не такое, как в вашем замке, но Маргарита постаралась, как могла.

Еще бы! Никогда я не видел на обеденном столе столько вкусной снеди. Тарелки были фаянсовые, а приборы из алюминия, зато седло барашка, жареная утка с яблоками, какой-то необычайный десерт под названием «плавучий остров», белое марочное вино и старое бургундское в запыленных бутылках привели нас в восторг.

— Остановись, Тамплеро! Мои дети не привыкли к таким обильным трапезам.

— То-то они у вас и хилые, — говорила Маргарита, прислуживая за столом. — Вино придает мужчине силу. Там у вас, на севере, вино не искрится. В нем солнышка нету.

Кюре расстегнул сутану. Мсье Резо, ну да, наш отец, превратившийся в тот вечер в «солдата Жака с высотки 137», тоже расстегнул свой жилет синевато-серого цвета. Я сидел за столом, опьянев от сытости и сонным взглядом озирая столовую отца Тамплеро; комната не была обтянута, как у нас, старинными гобеленами с зелеными

кущами, попугаями, какими-то непонятными птицами, облачными замками. Тут стены раз в год белили известкой, и на них не было даже благочестивых цветных литографий, столь любезных сердцу нашего священника в Соледо. Никаких священных изображений, кроме гипсового распятия, по которому разгуливали мухи. Окно выходило в заботливо ухоженный сад, где росла раскидистая смоковница, думаю, что не бесплодная, как в евангельской притче. Сознание мое уже затуманилось.

— Маргарита, налей-ка нам еще по стопочке.

Стопочка меня доконала. Больше я ничего не помню. Великан, смеясь до слез, взял меня на руки, отнес на широченную мягкую, теплую деревенскую постель, и я тотчас уснул.

Проснулся я лишь утром, вернее, меня разбудила Маргарита, она принесла мне на подносе кружку шоколада, рядом с которой лежали румяные сдобные булочки и бутерброды с маслом.

— Ну, как дела, парнишка?

Такая фамильярность показалась мне отчасти оскорбительной, но я милостиво разрешил ей расцеловать меня.

— Я сейчас встану, мадемуазель.

— Какая там еще мадемуазель! Зови меня про-

сто Маргарита. А вставать не надо, позавтракай в постели. Когда я была девчонкой…

Позавтракать в постели! Вот уж не думал, что такой привилегией может пользоваться кто-либо другой, кроме Психиморы. Однако меня не пришлось упрашивать, и, пока я уплетал булочки, Маргарита подробно рассказала мне, как ее баловала покойная мамаша, некогда державшая мелочную лавочку… Лавочница! Вот досада-то! Значит, Маргарита принадлежала к одному из самых низких слоев общества.

Проглотив шоколад (впервые я пил шоколад, и это событие стало для меня куда более важным, чем мое первое причастие), я вдруг устыдился:

— А как же месса? Я, значит, пропустил мессу!

Мне и в голову не приходило, что можно пренебречь богослужением, которое отправлял священник, так радушно нас принявший!

— Нынче будний день, не воскресенье, — спокойно ответила добрая женщина. — Поспи еще немножко. Я разбужу тебя попозже — пойдешь рвать клубнику.

— Клубника! У вас уже клубника? А у нас она поспеет только через месяц. И клубнику у нас берегут для гостей.

— Да ведь мы здесь не барахтаемся в тумане,

как вы. А кто сейчас у нас гости? Ты наш гость, да племянники господина Тамплеро, да еще птички божьи. Клубника у нас посажена на шести больших грядках, зимой мы их прикрывали навозом.

Словом, обетованный край! Я до того растерялся, что даже позабыл прочесть утреннюю молитву — и это в церковном-то доме, господи боже мой! А в десять часов я присоединился к Фреди, который уже лакомился ранней клубникой в неприхотливом деревенском саду, где цветы соседствовали с овощами. Кругом — никого, никаких надзирателей. Может, это ловушка, просто хотят проверить, насколько мы деликатны?

— Слушай, ты поосторожней! Гляди, чтобы не очень заметно было. А где же папа?

— Взял свой сачок и пошел под ручку с Тамплеро.

— Не с Тамплеро, а с господином аббатом, приходским священником в Монтанво! — возразил я.

— Ни дворянские грамоты, ни биржевые бумаги здесь не котируются, — провозгласил Фреди.

Не знаю, где он выкопал это изречение. Сказывался его возраст — на шестнадцатом году юноши часто бывают склонны к революционной фразе. Впрочем, к фразе, только к фразе.

Вскоре вернулся отец, по-прежнему в сопровождении своего друга, и тот еще издали крикнул мне:

— Эх ты, слабосильная команда! Так-то ты оказал честь моим винам! Привыкли дома дуть сидр, карапузы несчастные!

— Они дома и сидра не пьют, а только воду, — добродушно поправил его отец.

— О! — воскликнул Тамплеро, вкладывая в этот единственный возглас глубокое негодование. — И ты позволяешь?

— Видишь ли, у моей жены свои собственные взгляды на воспитание детей.

Тамплеро очень мало интересовался мадам Резо, но, должно быть, он представлял ее себе женщиной властной, суровой и все же хорошей женой и заботливой матерью.

— Смотри не вздумай в отсутствие жены испортить ее портрет, — со смехом заключил он.

Мысленно я одобрил его слова. Нельзя нападать на Психимору за пределами «Хвалебного». Не люблю, когда человеку втыкают булавку в спину.

Тотчас же после завтрака мы снова двинулись в путь. Ночевать мы собрались в Сигуле, у однополчанина отца, барона де ла Виллереона,

но он ограничился тем, что угостил нас в своем старинном замке черносмородинной наливкой. Пришлось доехать до Ма-д'Аженэ, где жил крупный фермер, бывший капрал отцовского взвода. Несмотря на поздний час, он встретил нас с распростертыми объятиями. Еще раз мне пришлось убедиться, что настроение моего отца целиком зависит от обстановки. Вопреки его генеалогическим изысканиям подлинным защитником притязаний Резо, династии Резо, привычек Резо был совсем не он, а наша мамаша, урожденная Плювиньек, никогда не якшавшаяся с людьми низкого звания. В тот вечер мсье Резо чувствовал себя прекрасно за тарелкой капустного супа, который фермерша налила ему половником прямо из котла. Он пустился в долгие рассуждения о севообороте, об удобрении земли навозом, потом вместе с нами отправился ночевать в амбар, где нам наспех поставили походные койки между грудами репчатого лука и мешками с зерном. И тут я узнал, что отец носит длинные кальсоны и храпит во сне.

На следующий день, в полдень, отец вновь стал светским человеком, надел изящные перчатки. Не останавливаясь, мы пересекли департамент Ло-и-Гаронна, под вечер прибыли в Арманьяк и

подкатили к замку графа де Поли, возвышавшемуся на вершине холма между речками Дузой и Желизой.

Замок имел весьма величественный вид, и владелец замка на первый взгляд вполне ему соответствовал. Нас провели в большую гостиную, и вскоре туда совершил торжественный выход этот бывший колониальный чиновник, долговязый старик с белоснежными бакенбардами. Его сопровождала дочь в воздушном платье из розового тюля. Рядом с нею граф де Поли казался еще суровее. Но он как-то странно моргал глазами.

— Уважаемый господин нотариус, — заговорил он напыщенным тоном, бесконечно благодарен вам за то, что вы так быстро…

— Папа, — прервала его мадемуазель де Поли, — это вовсе не ваш нотариус, это ваш друг — Жак Резо.

— Ах, это наш юный Резо. Очень рад вас видеть, дитя мое.

После возвращения из Китая граф де Поли впал в детство. Отец поморщился: ведь в его лице была оскорблена вся французская энтомология, наука весьма солидная. Но Иоланда де Поли тотчас пролила на болезненную рану целительный бальзам: для этого у нее нашлась соответству-

ющая случаю мягкая улыбка. Достаточно было взглянуть на нее, и сразу становилось ясно, до какой степени к этому дому подходит выражение: «Власть попала в женские руки, в руки тонкопряхи». Мадемуазель Иоланда с вечной своей улыбкой пряла последнюю нить рода де Поли. Кстати сказать, она была недурна, хотя несколько увяла. Меня уже начали интересовать женские лица, и она мне понравилась.

— Извините отца, дорогой Жак, — умоляла она, — зрение у него слабеет, и он с трудом узнает даже лучших своих друзей.

Они обменялись нежным дружеским рукопожатием. Из вежливости, и на сей раз без улыбки, мадемуазель де Поли спросила:

— Как себя чувствует мадам Резо?

В ответ она услышала двусмысленную фразу:

— Ко всеобщему удивлению, лучше!

Нас отец представил довольно небрежно. Мсье Резо явился перед нами в новом облике — в роли сердцееда.

Целую неделю он увивался за мадемуазель де Поли. Успокойтесь, ухаживание было чисто платоническим, как оно и приличествует человеку светскому, в такой же мере, как интерес к генеалогии и энтомологии. У графа де Поли, как и

у многих старцев, впавших в детство, случались минуты просветления. В угоду Иоланде наш отец старался заполнить их двукрылыми насекомыми. Пауки были изгнаны.

— Только один паук остался — этот крепко засел в башке его сиятельства! — хихикал Фреди, чье острословие становилось утомительным.

— Подожди, доживешь до его лет, так у тебя в голове не то что паук, а целый краб засядет, — говорил я позевывая.

Ибо я зевал непрерывно, зевал во весь рот. Возможно, вы этого не поймете, но я скучал. Конечно, нас принимали и угощали по-королевски, мы пользовались полной свободой с утра до вечера, в нашем распоряжении были теннисный корт, лодка, бильярдная, многочисленная челядь. Но все развлечения были разрешены официально и не имели прелести запретного плода. Психимора не дрожала от злости при виде их. Фреди, по-видимому, не очень-то разделял мои чувства на этот счет.

— Старуха лопнула бы от злости, если бы видела, как мы тут живем, — то и дело твердил я.

— В кои-то веки мы избавились от нее, а ты то и дело поминаешь эту ведьму! Ты все время ее ругаешь, а вроде как не можешь обойтись без нее,

честное слово!

И в самом деле! Играть с огнем, вертеть в руках гадюку — разве это не было с младенческих лет самой любимой моей забавой? Психимора стала мне необходимой, как пенсия для калеки, живущего своим убожеством.

И вот я из фанфаронства решил написать Кропетту письмо с восторженным описанием нашей поездки. Письмо, конечно, пройдет через цензуру нашей мегеры и больно уязвит как ее, так и Кропетта.

Ответ милого дружка не заставил себя ждать. Через четыре дня я получил открытку с великолепной фотографией нашего замка в «Хвалебном» — он был снят с фасада во всю свою длину. Кропетт сообщал без всяких комментариев:

«Дорогой Хватай-Глотай, очень рад, что вы так хорошо проводите каникулы. Зато мне мама купила велосипед фирмы „Вандер“ с переключателем скорости. Аббат Вадебонкер больше не вернется, вместо него наняли аббата Траке. Он был духовником в исправительной колонии. Жан Барбеливьен поступает в семинарию. Мама велела мне предупредить

Фреди, что она очень недовольна тем, что нашла в тайнике, оказавшемся в его комнате.

*Твой любящий брат **Марсель Резо**».*

Мы долго и горячо обсуждали письмо.

— Паршивец Кропетт хорошо поработал! — возмущался Фреди. — Мать задаст нам, когда мы вернемся.

— Буря утихнет, — ответил я, — а вот наш клад пропал. Четыре банки тушенки, две банки айвового варенья, тридцать четыре яйца, двести пятьдесят франков и пятнадцать ключей! Вот это беда! Хорошо еще, что у меня хватило догадки спрятать две бумажки по сто франков и четыре отмычки под плиткой пола в моей комнате. Надеюсь, что их не нашли.

Прежде чем передать нам открытку, отец прочел ее сам. Он не обратил никакого внимания на сообщение о нашем тайнике. Но в беседе с мадемуазель де Поли он яростно негодовал на самовластное решение Психиморы.

— Тут во всей красе сказался характер Поль! Воспользовалась моим отсутствием, чтобы уволить аббата и пригласить другого по своему вкусу. Я сегодня же напишу ей свои соображения

на сей счет.

Он ничего не написал. Десять минут спустя, набросив сачок на какое-то зонтичное растение, он случайно оказался счастливым обладателем редчайшей Tegomia. Лишний пучок волосков на последнем кольце ее брюшка давал основание предполагать, что в сачок попалась еще незнакомая разновидность. В полном восторге отец тотчас же написал о своей находке в Музей естествознания, членом-корреспондентом которого он был недавно избран. А жене написать забыл.

XV

Мы приехали в Арманьяк по внутренним дорогам. Поддавшись нашим уговорам, отец решил возвращаться домой по побережью. Мы никогда не видели моря, хотя от нашего «Хвалебного» до курорта Ла-Боль всего сто километров. Семья Резо считала бесполезным и даже безнравственным, чтобы люди нагишом мокли в соленой воде, выставив напоказ свои телеса. Жители Кранского края приходят в ужас перед наготой. И боятся воды, если она не освящена. Воспитание под стеклянным колпаком («в дароносице» — как острил Фреди) не допускало опасных общений. Каждому известно, что на пляже поневоле приходится сталкиваться с разбогатевшими лавочниками и вообще со всяким сбродом, которому теперь оплачивают отпуска. И наконец, это слишком дорогое удовольствие.

Но перед Пасхой на морских пляжах нет курортников, вода не загрязнена потом трудящейся черни, приехавшей на отдых, гостиницы пустуют, не заламывают бешеных цен. Впрочем, отец и не собирался нигде останавливаться, а просто

хотел проехать по берегу океана и показать нам одну из красивейших картин, созданных творцом Вселенной.

— Разумеется, пейзаж сильно испорчен отвратительными щитами, рекламирующими спиртные напитки, и виллами в американском стиле. Но вы постарайтесь их не замечать.

Ходовым выражением «американский стиль» отец клеймил все подряд: джаз (следовало говорить джаз-банд), новейшую архитектуру, кубизм в живописи, стихи сюрреалистов, мебель из орехового дерева и кресла из никелированных трубок. Особенно его возмущали последние: оставим никель для кресла в кабинете дантиста. Думается, что он нашел бы эти новомодные сиденья более удобными, чем старинные глубокие кресла на гнутых ножках, если бы ему довелось прожить недели две в соответствующей обстановке, но случай для этого так никогда и не представился.

Сворачиваем в сторону Бордо. Площадь Кэнконс, мост Сен-Жан длиною в четыреста восемьдесят шесть метров. Минуем порт, где царят суета, грязь и труд, весьма далекий от умственного. Заночевали мы в Блая, где гостиницы не так дороги, в том самом Блая, где укрепления

построены еще Вобаном[15] (если только я хорошо запомнил урок), в Блая, где родился в XII веке провансальский поэт Джауфре Рюдель, который, однако, вовсе не был властителем этих мест. Утром мы в Руайане. Отцовские лекции по океанографии и другим смежным дисциплинам. Оказывается, нельзя путать серых креветок с другими видами этих ракообразных. Морская блоха не имеет никакого отношения к энтомологии: это самое презренное ракообразное. Голубой репейничек называется так совершенно ошибочно, ибо никакого отношения не имеет к семейству сложноцветных. Поплавки морской водоросли фукус представляют собой до сих пор не разрешенную загадку: каким образом они надуваются? Попытки создания собственной теории. Чайки используют восходящие течения воздуха гораздо лучше, чем любые планеры, ибо творения божьи всегда совершеннее изделий рук человеческих. А людям не мешало бы все-таки использовать огромные запасы энергии морских приливов. Следует несколько математических формул. Беглый обзор трудностей, которые встречают-

[15] Примечания: 15

*Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобаан (1633–1707) — выдающийся военный инженер своего времени, маршал Франции, писатель. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества.

ся при конструкции турбин, работающих при слабом падении воды. И не следует смешивать руайанцев, которые живут в городе Руайане, с руайядерами, жителями города Руайя в департаменте Пюи-де-Дом или, вернее сказать, в Лимани, так как деление на департаменты произведено произвольно после Революции. Вон около мола плывет какой-то юноша, он плывет кролем, а этот стиль плавания мы переняли у полинезийцев.

— Мне следовало бы научить вас плавать. Тем более что для этого имеются благоприятные условия: через наш парк протекает Омэ. Надо будет поговорить об этом с мамой.

«Надо будет...» Гляди-ка, старик уже вспомнил о мамашином характере, чувствует родное стойло. Фальшивый приятельский тон, который он принял в начале путешествия, с каждым часом становится все более отцовским. Впрочем, мы и сами чувствуем себя не слишком уверенно. Фреди то и дело шепчет мне на ухо:

— Слушай, ты меня поддержишь? Поддержишь?

Мы могли пробыть в Руайане только два часа. В тот день мы осмотрели Фура, потом Шатлайон, а к ночи приехали наконец в Ла-Рошель к нашей тетке, баронессе де Сель д'Озель, получившей

недавно в наследство от своей свекрови особняк на улице Марны и соляные промыслы на острове Олерон. Завтра мы сделаем небольшой крюк и посмотрим на строительство огромного мола в Ла-Палисе.

Увы, не посмотрим! У баронессы нас ждало письмо Психиморы, содержание которого было от нас скрыто, но отец вдруг заявил, что страшно устал, и неожиданно выбрал маршрут в «Хвалебное» через Фонтене-ле-Конт и Шоле. Мы не увидим ни Ле-Сабль-д'Олонн, ни Круа-де-Ви. Наш одышливый автомобильчик (давно пора было сменить масло) волей-неволей торопился в «Хвалебное», Перед нашими глазами уже возникает знакомая картина: вандейские живые изгороди, выбитые дороги, высокие откосы, увенчанные густым кустарником, пегие коровы (из их молока почему-то получается желтое масло), и мы уже проникаемся сознанием, что должны вести себя прилично, уже не смеем развалиться в машине. Едем не через Анже, а через Канде. И вот мы уже подкатываем к Верну, где указатель на придорожном столбе гласит, что до Соледо осталось всего пять километров. Наконец в четыре часа пополудни мы проезжаем по аллее, где на коре платанов вырезаны зловещие буквы «М.П.», а у подножия

деревьев увядают последние желтофиоли. Отец робко сигналит. Появляется растрепанная Психимора. По бокам ее вырастают две фигуры: Фина, которая теребит от волнения кончик фартука, и очень длинный, очень тощий человек в сутане — он стоит, скрестив руки на груди и склонив к левому плечу голову, как Христос на серебряном, хорошо начищенном распятии, заткнутом у аббата за пояс.

— Ага! Номер седьмой! Ну и мерзкая же у него рожа! — шепчет мне на ухо Фреди.

А отец уже целует матери руку.

— Вот, познакомься, господин аббат Траке, он согласился заменить аббата Вадебонкера, которого община вновь послала в Канаду.

— Ах так! Что ж, хорошо, — ответил отец, довольный уже тем, что Психимора соблаговолила дать ему хоть какое-то объяснение, — а то мне не совсем были понятны причины отъезда нашего наставника. Добро пожаловать, господин аббат.

При встрече мать, так же как и при прощании, не поцеловала нас.

— Погоди ты! — сказала она Фреди, погрозив пальцем.

Но тут же спохватилась: сначала надо разжечь негодование отца.

Аббат № 7 спустился с крыльца, медленно переступая ножищами в башмаках сорок четвертого размера и, подойдя к нам, опустил свои тяжелые руки нам на плечи. Я был удостоен правой руки, а Фреди — левой. Но я счел необходимым показать этому специалисту, что в его тиски попали вовсе не кроткие овечки.

— Извините, господин аббат, но я должен сказать словечко нашему братцу Марселю, раз он сам не пришел поздороваться с нами.

— Ваш брат учит уроки, — сухо возразил аббат, — и вы немедленно последуете его примеру. У вас были долгие каникулы, и, если я не ошибаюсь, вы не очень-то их заслужили. Вы должны немедленно приняться за работу.

Право, этот человек говорит так, словно жует слова. Челюсти у него похрустывают, как у лошади, когда она перемалывает зубами сено. Фреди послушно поднялся по ступенькам крыльца. Я пошел вслед за ним, и мы очутились в классной комнате. Там я увидел Кропетта, казалось всецело поглощенного трудным делом: он воспроизводил карту России. (России, которую ныне называют СССР, мадам Резо прямо сохнет от желания заполучить марки этой страны, хотя на них обычно воспроизведены, и притом отвратительно, порт-

реты революционных деятелей.) Итак, я узрел Кропетта и спокойно сказал ему:

— Почему ты написал — Петроград? Теперь ведь он называется Ленинградом.

Аббат набросился на меня:

— Зачем вы вмешиваетесь не в свое дело?

Но я продолжал:

— Ну конечно, Петроград звучит гораздо лучше. Петр — значит «камень», «и на камне сем… — Первая пощечина аббата № 7 отшвырнула меня на три метра в сторону. И все же я договорил: — …воздвигну предательство свое».

Вторая пощечина. Кропетт сидел, уткнувши нос в свою карту, и старательно выводил где-то около верховьев Волги название города — Нижний Новгород (он же — Горький). Щеки у него, однако, раскраснелись больше, чем у меня после двух оплеух, которые я получил из любви к истине, подобно Иисусу Христу, покровителю всех гонимых на земле.

— Я вижу, вы многообещающий юноша, — заявил аббат. — Ваша матушка нисколько не преувеличила. Но я укрощал и не таких, как вы, будьте уверены.

К великому моему удивлению, на этом все кончилось. Аббат уселся за стол и заговорил

спокойно:

— Вы несправедливы. Мне думается, я знаю, в чем вы подозреваете брата. Как только я приехал, ваша матушка ввела меня в курс дела. Но ведь ваш тайный клад найден был вовсе не по доносу Марселя, а совершенно случайно. Да и вообще, почему вы вмешиваетесь? Это касается только вашего старшего брата.

На что он намекает, к чему клонит? Но аббат уже принялся поносить Фреди.

— Ну-ка, воришка, пока что сядьте отдельно за этот столик и проспрягайте мне глагол «похищать» во всех временах и на трех языках — французском, латинском и греческом.

Все стало ясным на следующий день в девять часов утра, как только начались занятия.

— Фердинан! — крикнула Психимора, приоткрыв дверь классной комнаты. — Отец ждет тебя в кабинете. Ну живо! Пошевеливайся!

Фреди вышел, ткнув меня по дороге ногой в икру. Что за черт! Я ждал, что позовут и меня. Но этого не случилось. Психимора возвратилась одна и, улыбаясь своей «дипломатической» улыбкой, скромно присела на уголок рабочего стола.

— В ваше отсутствие, — сказала она без всяких преамбул, — я обнаружила в комнате Фреди тай-

ник, в котором оказались съестные припасы и деньги. Меня встревожил сильный запах тухлятины. Яйца-то протухли.

Кропетт бросил на нее взгляд, полный благодарности.

— Я произвела расследование. Тушенку вы получили путем торговли с фермерами. Я уже говорила, что думаю об этих коммерческих сделках, и приказала фермерам впредь не давать вам ничего. А яйца Фреди крал у Бертины, это яснее ясного. Я нашла также ключи, предназначенные, конечно, для отпирания моих шкафов. Все это проступки весьма тяжелые и заслуживают примерной кары. Фердинан получит порку. А кроме того, целый месяц просидит под замком в своей комнате. Разумеется, весь этот месяц он будет лишен сладкого, выпускать его будут только по воскресеньям — в церковь. Запрещаю вам общаться с ним в течение этого месячного карантина. Вам это пойдет на пользу: не будете слушать его дурных советов.

Я ничего не ответил. Мамаша даже не давала себе труда исподтишка наблюдать за мной — она и без того прекрасно знала, какие чувства меня обуревают. Я был уязвлен мыслью, что Психимора, казалось, не учитывает моего соучастия в

проступке Фреди. Но еще больше меня беспокоило другое: что подумает обо мне Фреди, если я немедленно же не вступлюсь за него. Психимора, зная мой характер, предусмотрела эту возможность:

— Хватай-Глотай, твой старший брат, который не блещет храбростью, разумеется, притянул тебя к своим подвигам! Но я не придаю этому значения. Какую бы роль ты ни играл в этом деле, Фердинан старше тебя, и поэтому я считаю ответственным именно его.

В ответ последовало враждебное молчание. Мамаша расцветила эту минуту самыми разнообразными улыбками, адресуя их аббату, своему любимчику Марселю, мне и самой себе. Затем она удалилась, не прибавив ни слова. Аббат Траке последовал за нею — вероятно, хотел получить новые инструкции.

— Что нам делать? — шепотом спросил я Кропетта.

— А что можно сделать? Она тебе сказала — за все должен расплачиваться один Фреди. Считай, что нам повезло, и помалкивай.

— Фреди нам никогда не простит, если мы бросим его в беде.

Я уже начал обдумывать план контратаки…

Скомпрометировать Кропетта. Во что бы то ни стало наладить связь с Фреди, поскольку он, несомненно, пал духом и его мужество находится на нулевом уровне, как говорил отец про море, когда мы проезжали Шатлайон. Постепенно вывести из строя аббата Траке, вызвав трения между ним и Психиморой: это будет не так-то легко, но ведь перед тем, как уволить нашего очередного наставника, она всегда бывала с ним, хотя бы внешне, в наилучших отношениях. И надо еще обработать мсье Резо. А сейчас выжидать и смотреть в оба. Так я на собственном опыте постигал, что терпение сродни лицемерию.

Фердинана, наследного принца дома Резо, выпороли после обеда. Отец увильнул от выполнения этой повинности. Он исчез и, укрывшись в «музее», перерисовывал свой редчайший экземпляр Tegomia, пойманный в Жере, стараясь выделить, а главное, несколько увеличить в размере дополнительный пучок волосков на последнем кольце брюшка. Психимора сама сорвала в орешнике толстый прут и вручила его аббату № 7, приказав ему исполосовать как следует зад приговоренного.

— Надеюсь, вы извините меня, господин аббат, за то, что я возлагаю на вас экзекуцию. Но мой

муж очень занят. А я сама не могу сечь пятнадцатилетнего подростка, это просто неприлично.

Аббат Траке, хотя и без особого энтузиазма, все же принял на себя обязанности палача, и вскоре мы услышали отчаянные вопли, доносившиеся из комнаты Фреди.

— Сволочь этот Траке! — убежденно пробормотал Кропетт.

— Лучше бы Фреди не орал, — заметил я. — Стойкости нет. Будь я на его месте…

— Ну ты, уж конечно, сильнее всех, — язвительно заметил Кропетт.

Я нетерпеливо ждал ночи. И вот она пришла, очень темная ночь — именно такая мне и требовалась. Вооружившись ночником, Психимора трижды заглядывала в наши комнаты и около полуночи, не обнаружив ничего подозрительного ни в спальнях, ни в коридорах, отправилась спать, доверив свою ненависть пуховой подушке. Я выскользнул из спальни, помчался к сараю и притащил оттуда лестницу. Приставить лестницу к окошку, взобраться на нее, залезть в спальню Фреди, разбудить невинную жертву, спавшую крепким сном, несмотря на исполосованный розгами зад, — все это заняло не больше пяти минут.

— Оставь меня в покое и убирайся, предатель! — проворчал позевывая мой старший братец. — Видишь, к чему приводят твои идиотские выдумки. А расплачиваться, как всегда, мне.

— Дурак! Неужели ты не понял, что Психимора хочет посеять между нами раздор!

Мне понадобился целый час, чтобы убедить нашего Рохлю. Но так как Фреди — достойный сын своего отца, то мое красноречие в конце концов поколебало его.

— Вот что, выбирай сам. Возможны два выхода, — сказал я в заключение. — Первый выход: мы остаемся на прежних позициях, ты будешь отбывать наказание, мы всячески будем стараться помочь тебе и попытаемся добиться, чтобы тебя простили, а для этого улестим папу, помни, что первое мая день его именин. И в конечном счете сорвутся планы Психиморы — рассорить нас и свалить на тебя вину за нашу общую проделку. Второй выход: завтра утром я пойду к отцу и докажу ему, что мы все тут замешаны: предъявлю ему нашу «Декларацию прав» — к счастью, она сохранилась. Кропетт — сторонник первого решения, а мне больше по душе второе.

Фреди больше не колебался. Повальная порка

все равно не спасла бы его, да еще он остался бы без всякой помощи, и он встал на сторону Кропетта.

— Если и вас тоже посадят под замок, то вы ничем не сможете мне помочь. Некому будет даже умаслить папашу. И вдобавок, если мы втянем в эту историю Кропетта, он, после расплаты, не станет с нами церемониться и окончательно перейдет в лагерь нашей мегеры… а уж его-то она, бессовестная, наверняка простит — он ведь любимый младший сыночек.

На этот раз я примкнул к решению, принятому большинством.

— Ну, будь по-вашему. Чтобы нам легче сообщаться, ведь не могу же я каждую ночь лазить к тебе в окошко, я проверчу в переборке между нашими комнатами дырку. В моей комнате отверстие не будет заметно — я сделаю его как раз под распятием. А ты в своей комнате закрой дырку образком святой Терезы.

Уже на следующий день этот своеобразный телефон действовал безотказно. Я не возлагал особых надежд на практическую пользу такой установки, но необходимо было постоянно поддерживать душевные силы Фреди. У него создавалось впечатление, что о нем заботятся, и

это его подбадривало.

Весь день я работал весьма усердно. Раз Психимора давала мне уроки макиавеллизма, я без труда показал себя способным учеником.

— А правда, что Фреди вчера вечером высекли? — простодушно спросила меня юная Бертина Барбеливьен, когда я высунулся из окошка классной комнаты. Было это около полудня, и по распорядку дня мне полагалось идти мыть руки.

Бросив взгляд на розовые кусты, я заметил в их гуще Психимору, обрезавшую секатором сухие ветки. Я ответил очень громко:

— Ну, знаешь, аббат Траке не такой уж злой, каким кажется на первый взгляд. Он не стащил с Фреди штаны, лупил через сукно, а Фреди нарочно орал изо всех сил, как будто ему ужасно больно.

Первый удар! Секатор на мгновение замер в воздухе, свидетельствуя, что мегера прекрасно меня слышит. Во второй половине дня аббат № 7 по малой нужде, каковая беспокоит не только простых смертных, но и особ духовного звания, совершил короткое паломничество в отхожее место, оставив дверь в классную комнату полуоткрытой. И он в свою очередь был награжден неприятным разоблачением. Когда скрип баш-

маков возвестил о его возвращении, я заявил Кропетту лжедоверительным тоном:

— Мне думается, на этот раз желание мамы сбылось. Нынче утром я слышал, как она говорила, что у себя в доме она хочет видеть не столько наставников, сколько лакеев, и что аббат Траке вполне подходит для этой роли.

Второй удар! Отныне я не пропущу ни одного случая натравить моих врагов друг на друга. Я не остановлюсь перед самыми бандитскими приемами, я утащу из шкафа пакет с дешевенькими мятными леденцами и пакет этот оставлю у всех на виду около шапочки аббата — пусть Психимора заподозрит, будто он позволяет себе не вовремя угощаться конфетками. По любому поводу я буду расхваливать аббата № 7, как наставника «строгого, но справедливого». Аббата это будет злить, но благодаря моей установившейся репутации критикана Психимора не догадается, что я веду под нее подкоп.

Что касается мсье Резо, то, по правде говоря, мне было довольно трудно подольститься к нему. Хотя отец был очень доволен, что за счет Фреди избавился от более крупных домашних неприятностей для себя лично, он относился ко мне с молчаливым презрением или, во всяком случае,

с удивлением. Обратить старшего сына в козла отпущения он считал поступком неблагородным, хотя сам приложил к этому руку. Он ждал бурного взрыва с моей стороны. Мое молчание гарантировало ему спокойствие, но претило ему. Он ни на минуту не поверил официальной версии и с неслыханным коварством корил меня в душе за то, что я, так сказать, принудил его прикрыть своим отцовским авторитетом несправедливую расправу с Фреди. Я представлял в семье элемент сопротивления, на которое он втайне рассчитывал: правление Ее величества Психиморы, лишенное оппозиции, угрожало тоталитаризмом.

Поговорить с ним я мог бы только во время прогулок к мосту. Но Психимора была начеку. Кропетт вечно путался у меня под ногами, аббат Траке, подобно предшествующему наставнику, упорно ходил за нами по пятам, перебирая четки и бормоча молитвы.

Наконец случай представился. На пятый день заточения Фреди мне удалось избавиться от обоих соглядатаев и подобраться к отцу, задумчиво стоявшему под деревом на берегу Омэ. Передо мной был скучающий человек, нервно подкручивавший теперь уже совершенно седые усы.

Он смотрел вокруг влажным взором. Кругом ни души.

— Что тебе надо?

Он прекрасно знал, что мне надо. Но примириться с некрасивым поступком — это одно, а согласиться честно его обсудить для буржуа такого типа, как мсье Резо, совершенно невозможно. И речи не может быть о том, что он сознательно способствовал несправедливости. Надо изложить свое ходатайство таким образом, чтобы отец оказался в выигрышном положении защитника несправедливо обиженных. Иначе просьба моя будет отвергнута без рассмотрения. Прежде всего нужно соблюсти приличия, поднести свои доводы на серебряном блюде, словно ключи от ворот завоеванного города, которые победителю, в сущности, не нужны, ибо он знает, что они бутафорские. Чуткость и великодушие — вот официально признанные достоинства нашего отца, — самого бесхарактерного человека на земле, этого жалкого pater familias,[16] одетого в куртку из облысевшей козьей шкуры и дрожавшего при мысли, что Психимора может застичь нас врасплох.

---

[16] Примечания: 16
Отца семейства (лат.).

— Ну что ты хотел мне сказать? Это на тебя не похоже — вертеться вокруг да около.

Весьма польщенный этой косвенной похвалой, я осмелел:

— Папа, я должен признаться вот в чем: мы все замешаны в проделке с тайником. Скажу больше, я первый подал мысль устроить такую кладовку.

Я смотрел ему в глаза, и теперь мне уже был не страшен его презрительный взгляд.

— Я так и знал, — снисходительно сказал отец и добавил с простодушной наглостью, свойственной только ему: — Ты хоть предупредил бы меня. Фреди все равно остался бы виноватым больше всех, поскольку он старший, но я не люблю, когда человек увертывается от ответственности.

— Мне казалось, что маме хотелось все свалить на Фреди…

Стоп! На эту педаль не нажимать!

— Какие мерзкие расчеты ты приписываешь матери! Характер у нее нелегкий, согласен, но ведь и вы, дети, в особенности ты, Жан, унаследовали ее нрав. Иной раз вы просто отравляете мне жизнь. Вечно все усложняете. В мое время все было гораздо проще.

— Но ведь вас воспитывала наша бабушка.

Я произнес это слово очень тихо, проникно-

венным тоном. Отец снова заговорил, но уже ворчливо, что у него обычно предшествовало душевному волнению или следовало за ним:

— Не пытайся настроить меня против твоей матери. Конечно, моя мать была святая женщина. Я это прекрасно знаю. Но все же и ваша мать — не чудовище!

Я молчу, пусть задумается над этим «все же». В камышах нежно попискивает кулик. Легкая рябь пробегает по мутной воде речушки, изредка мелькнет черная спинка проплывающей плотички.

— Папа, отдай нас в коллеж.

Гневного отпора не последовало. Отец только вздохнул.

— А где же, дружок, взять денег? Я ведь не из тщеславия держу вас здесь. Домашний наставник обходится дешевле, чем содержание троих в коллеже. Мы живем на приданое твоей мамы. До войны оно представляло собой большое состояние. А теперь оно дает нам только некоторый достаток. О фермах и говорить не стоит. Арендные договоры заключены еще в 1910 году. «Ивняки», если тебе угодно знать, приносят всего тысячу восемьсот франков.

И вдруг он как будто рассердился на самого

себя:

— Нет, я не могу сдавать свои фермы исполу. В здешних краях это не принято. Фермеры, которые живут на нашей земле испокон веков, способны и уйти от меня. Разумеется, такая ферма, как «Ивняки», если ее сдать исполу, может приносить от пятнадцати до двадцати тысяч, смотря какой год выпадет. Но где же мне взять денег на покупку скота и инвентаря? Богатейшие Плювиньеки не дадут мне взаймы ни гроша. Заложить «Хвалебное»? Но на что это будет похоже?

Он мог бы зарабатывать, поступив на службу. И такая мысль приходила ему в голову.

— Если бы не вечные мои болезни, если бы я мог пренебречь своими научными трудами, а главное, если бы суд и администрацию не заполнили ставленники франкмасонов, я бы легко получил должность городского судьи. Но при нынешних обстоятельствах — нет... ни за что!

Он не добавил — но, несомненно, подумал, — что для носителя старинного имени Резо работа по найму не столь уж почетное занятие. Только мелкая сошка обязана работать для того, чтобы существовать. Этот чудовищный предрассудок, унаследованный от благородных предков, все еще жил в семье Резо, хотя многие из них уже

вынуждены были продавать свой труд.

Наконец мсье Резо догадался, чего я жду от него, хотя я не смел и заикнуться об этом, опасаясь, что, если я подскажу решение, отец надменно отвергнет его.

— Через три дня, — сказал он, — первое мая. По случаю дня моего ангела я отменю все наказания.

Я ушел очень довольный, однако никто не разуверит меня в том, что к амнистиям прибегают слабые правительства.

XVI

— А теперь, Кропетт, сходи за старшим братом. По случаю дня моего ангела я его прощаю.

Отец молчал до последней минуты. В руках у него была целая охапка бенгальских роз, которые мы ему преподнесли, подавая их имениннику одну за другой, по обычаю нашего семейства. Именно благодаря своей слабохарактерности отец выбрал наиболее удачный момент для помилования, ибо в такие минуты распри неуместны. Итак, Психимора не решилась ему возразить. Но, бросив взгляд в мою сторону, она дала мне понять, что ее не проведешь. Она медленно вытащила из лифчика, излишнего при такой плоскогрудости, ключ от комнаты Фреди и протянула мне:

— Я предпочитаю, Хватай-Глотай, чтобы именно ты освободил своего верного помощника.

Эта простая фраза указывала на перемену курса. Отныне она ополчилась против меня, я стал главным врагом, против которого хороши любые средства.

И впрямь, наша мегера до сих пор довольствовалась тем, что превращала в преступления

малейший мой промах, изобретала тысячу сложнейших правил поведения, денно и нощно следила за их строгим выполнением. Но она пока еще не осмеливалась прибегать ко лжи и клевете, ибо оружие это ненадежно и легко может обратиться против того, кто его применяет. А главное, Психимора не забывала, что ее власть над нами проистекает из ее роли матери семейства, на которую сам господь бог и общество возложили обязанность воспитывать нас согласно высочайшим нравственным Принципам (с большой буквы), а посему она окружена в глазах людей ореолом, как и всякая другая мать. Она избегала прямой мести, соблюдала внешние приличия, выдвигала на первый план принципы христианской религии, законности и общественного порядка; одним словом, ее жестокость опиралась на костыли правосудия. Теперь все пошло по-другому. Время не ждет. Первому сыну шел шестнадцатый год, второму — пятнадцатый, третьему — четырнадцатый. Эти цифры росли с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем; они обращались против нее, как угроза; равно как угрозой казался ей наш рост, разворот наших плеч. Мегеру ждало неизбежное поражение — мы становились взрослыми, недаром же

Фреди время от времени требовал себе отцовскую бритву. Наши юные мускулы, пушок над губой, ломающиеся голоса казались Психиморе покушением на ее власть, безмолвным оскорблением, требующим кары. Мы все еще были ее детьми, и всегда останемся ее детьми, имеющими только одно право — повиноваться и служить подопытными кроликами для ее прихотей и произвола (измывательства над нами стали своего рода гимнастикой для ее деспотизма). Ни о каких договорах не могло быть и речи. В нашем доме гражданская война отныне не прекращалась.

Последующая неделя после именин отца была одной из самых ужасных. Разъяренная, как паук, у которого взмахом метлы сорвали паутину, Психимора принялась протягивать во все стороны новые тенета. Поднимала крик из-за малейшего пустяка. Даже Кропетта за оторванную пуговицу на три дня заперла в комнате. Ведь этот трус, терроризированный обеими враждующими сторонами, не смел никого предавать. Я нечаянно опрокинул чернильницу на свою тетрадь по географии, и за это меня тоже заперли на три дня в спальне. Психимора требовала, чтобы меня в наказание высекли. Но аббат, при поддержке отца, отказался.

— Не будем нервничать. Наказание должно соответствовать тяжести проступка.

Психимора, уязвленная до глубины души, следовала за мной по пятам. Стоило мне подойти к двери, как она отталкивала меня и вопила:

— Ты что, не хочешь уступить матери дорогу?

И даже умудрялась стукнуться о мой локоть:

— Скотина ты этакая! Ты нарочно меня толкнул. Сейчас же проси прощение!

Я с усмешкой подчинялся:

— Извиняюсь, мама.

Такой неделикатный оборот речи, как вам известно, мало подходит для извинения, но он показывает, насколько обострилась наша ненависть. В сущности, этим выражением я совсем не приносил повинной, скорее наоборот, но ведь так говорит множество людей, не замечая своей невежливости. К тому же Психимора, не слишком разбиравшаяся в тонкостях французского языка, не усматривала здесь никакого подвоха.

Аббат № 7, тот самый изверг, который явился к нам в «Хвалебное» с людоедскими намерениями, вдруг взял курс к берегам нейтралитета. Между ним и Психиморой возникло враждебное недоверие. Я продолжал самым благожелательным образом истолковывать все его распоряжения, во

всеуслышание расхваливал нашего наставника и всяческими способами старался поссорить его с матерью. Вот один пример. Запас вина, употребляемого при богослужении, кончился. Психимора без всякой задней мысли выразила свое удивление.

— А я думала, что вина хватит надолго.

Замечание, в сущности, безобидное, но, поскольку его слышали все, мне удалось благодаря ему окончательно рассорить аббата с хозяйкой дома.

Два дня аббату приходилось за мессой наливать в чашу обыкновенное белое вино. Он не очень-то был уверен, что употребление этой кислятины при богослужении допускалось церковными правилами. Ведь винная бочка, возможно, была обработана парами серы. На уроке я высказал эту мысль аббату.

— Ну, — сказал аббат, — нельзя быть слишком придирчивым. Вино ваш отец покупает прямо у винодела. Во всяком случае, вино для мессы мы получим в ближайшие дни.

Я с невинным видом обратился к Фреди:

— Я слышал, как мама говорила, что за последние два месяца у нас вышло вдвое больше вина. Уж не потягиваешь ли ты случайно из

бутылочки?

— Болван! — ответил брат. — Ты же знаешь, что бутылка заперта в шкафу.

Действительно, бутылку запирали, даже больше, ключ от шкафа находился у аббата. Аббат № 7, считая, что его, священнослужителя, подозревают в кощунственном пьянстве, побледнел и с такой силой потер руки, что захрустели суставы, но не сказал ни слова. Эта капля вина переполнила чашу. Он отстранился от всего, ограничиваясь только ролью наставника. Для завершения дел я написал его предшественнику, аббату Вадебонкеру, и, заверив его в нашей вечной признательности, выразил сожаление, что ему пришлось добровольно уйти из-за нас, о чем мы глубоко сожалеем, хотя его преемник — человек преданный своему делу и мы его очень, очень любим и т. д. и т. д. Это патетическое послание было переправлено миссионеру его общиной. Он без обиняков сообщил нам в ответном письме, что ушел не по собственному желанию, а лишь потому, что наша мать предложила ему не возвращаться после отпуска, он же не счел возможным настаивать; что мое письмо очень его порадовало, так как он все время мучился мыслью, в чем же он погрешил против своих

обязанностей.

Обычно папа контролировал нашу переписку и, просмотрев письмо, передавал его для цензуры Психиморе. На сей раз он передал письмо непосредственно мне и добавил:

— Незачем говорить о нем матери. А то будут неприятности.

Но я показал письмо братьям и аббату, и он таким образом узнал, какую участь готовит ему Психимора. Он сблизился с отцом, подружился с этим великим знатоком двукрылых и совсем перестал помогать матери изобретать ежедневные подлости. В сущности, он, как и все прежние наши наставники, был бедняк, нанятый по дешевке на рынке духовных лиц, оказавшихся без должности.

Гражданская война продолжалась. Если суп оказывался пересолен, нечего было обвинять в этом Фину, потому что она всегда в меру клала все приправы. Впрочем, чтобы подчеркнуть свою причастность к злодеянию, в столовую врывалась возмущенная Психимора и начинала орать:

— Подумаешь, какие разборчивые! Суп превосходный. Извольте сейчас же все съесть.

Чтобы заставить нас проглотить эту гадость, она сама съедала в нашем присутствии две-три

ложки.

Не раз она вбегала в классную комнату, размахивая рваной рубашкой, которую я отдал в стирку совершенно целой. Она нарочно ножницами делала в ней прорехи, за которые я отсиживал два дня под замком и прослыл неряхой, а под этим удобным предлогом отказывала мне в новой сорочке и приличном костюме. У меня уже вошло в привычку, сдавая через каждые две недели по субботам грязное белье (мы имели право сменять белье летом через две, а зимой — через три недели), показывать Психиморе, что носки у меня не рваные и на кальсонах нет дыр. Случалось, я сам иногда все чинил перед сдачей.

Не беспокойтесь, за свои милые выходки ей приходилось расплачиваться сторицей. Вовсе не сами ласточки оставляли каждый день свои визитные карточки на пледе мадам Резо, позабытом ею на шезлонге. Это я собирал их беловатый помет и возлагал на плед Психиморы в знак признательности и уважения. Марки из ее коллекции рвались не сами собой: легкое прикосновение ножа во много раз снижало их ценность. А знаете ли вы, как можно испортить замок, всунув в скважину крошечный обломок булавки? Не удивляйтесь также, что цветочные семена, посе-

янные в клумбы, не прорастали. Ведь им не шло на пользу регулярное орошение мочой. Вскользь упомяну о гибели гортензий, подаренных графиней Бартоломи нашей Психиморе в день ее именин и пересаженных на лучший участок цветника в великолепный чернозем, к которому примешали толченого шиферу, для того чтобы придать лепесткам гортензий голубую окраску… Они поголубели, даже чересчур поголубели. Недаром же Фреди добросовестно поливал их раствором каустической соды.

Бедный папа! Он уже и сам не знал, что ему делать, как успокоить разъяренных детей и жену. Они отнюдь не старались облегчить его мигрени, ибо вряд ли злобные крики были такой уж мягкой подушкой для его больной головы. Напрасно старался он вырвать домочадцев из этой отравленной атмосферы. Дух злобы вселился в нас. Если мы еще и сопровождали его с удовольствием в генеалогических экспедициях, то лишь для того, чтобы «устроить заваруху». Сейчас поясню, о чем идет речь… Приехав в какое-нибудь селение, мы оставляли отца в мэрии просматривать метрические книги, а сами отправлялись «прогуляться в сторону церкви». И мы действительно шли туда, но не для того, чтобы осмотреть храм, — мы

хватали требник, молитвенники, часословы и швыряли их в чашу со святой водой или в купель для крещения. Обычно в деревенских церквах в середине дня никого не бывает. И мы могли действовать спокойно. Испортить механизм больших стенных часов, засунув камешек между зубцами шестерни; нагадить в исповедальне как раз на то самое кресло, в которое садится духовник, перед тем как отворить окошечко и выслушать кающуюся грешницу; погасить огонек, мерцающий над алтарем в прозрачной глубине лампады цветного стекла; раскачать, как маятник часов, паникадило, свисающее на длинной цепи; взобраться на колокольню и отвязать веревки от колоколов; запереть дверь на ключ и забросить его куда-нибудь (если только мы не оставляли его себе для коллекции); сделать углем на стенах церкви оскорбительные надписи или подправить вечным пером объявления о предстоящих свадьбах — таковы были наши забавы, признаюсь, довольно пакостные.

В сущности, ради чего мы все это делали? Назло Психиморе. Мы хотели посмеяться над тем, что казалось мадам Резо главной основой ее власти над нами. Обыкновенно веру перенимают от своих матерей. Мы же ненавидели свою мать,

и кощунство было естественным следствием нашего бунта против нее. В детских наших умах инстинктивно совершался тот же самый процесс, в результате которого республиканцы уже более столетия являются антиклерикалами именно потому, что королевская власть опиралась на христианскую церковь. Еще и по сей день, когда я задаюсь вопросом, откуда идет моя безотчетная антипатия к чему-либо, мне обычно нетрудно установить причину: все, что было любезно сердцу моей матери, навеки стало ненавистным для меня. Еще и по сей день, если мне попадается на глаза аптечная склянка с надписью на этикетке «Яд» или «Только для наружного употребления», я смотрю на нее с каким-то жгучим ретроспективным любопытством; мне вспоминается наша первая неудачная попытка убийства, я думаю об этом без малейших укоров совести и сожалею лишь о неудачном выборе средств.

Ибо мы дошли и до этого.

Быть может, мы сами никогда бы не вступили на такой путь, если бы нас не толкнула на него Психимора. Психимора… и морской скат. Вонючий кусок ската, купленный по дешевке на рыбном рынке в Сегре и отдававший аммиаком. Отца за столом не было, он уехал куда-то на два

дня. Мать приказала подать себе яичницу из двух яиц. Аббату № 7 предоставлялось право, так же как и нам, угощаться разварной дрянью, плавающей в соусе с какими-то белесыми сгустками. «Кто не со мной — тот против меня». С аббатом Траке теперь не церемонились. Так как мы не решались притронуться к столь лакомому кушанью, Психимора накинулась на нас:

— Ну, в чем дело?! Моим привередливым сыночкам не нравится скат? Вам подавай в постные дни отварную форель?

— Мне кажется, рыба немного попахивает, — заметил Кропетт.

— Довольно! — завопила Психимора. — Рыба превосходная. Если вы ее не съедите, я вам покажу. Я вовсе не собираюсь вас травить, как вы отравили лошадей!

Опять двадцать пять! Вытащила на свет божий старую басню! Рыба была съедена, только аббат № 7 оставил на тарелке свою порцию почти нетронутой. Психимора, пронзив его взглядом, тотчас удалилась в свою комнату после благодарственной молитвы, а Кропетт, едва добежав до цветника, изрыгнул съеденного ската на куст бенгальских роз. Не помню уж, кем было произнесено слово «белладонна». Но лишь только Фина

кончила убирать со стола, мы все трое очутились около шкафа вишневого дерева. Там на четвертой полке занимала почетное место склянка с белладонной: двадцать капель этой настойки мадам Резо принимала за каждой едой со времени своего пресловутого приступа печени.

— Сто капель, наверное, хватит, — прошептал я еле слышно.

— Ага, мы «лошадей отравили»? Ладно! Этакой порцией и в самом деле можно лошадь отравить! — хихикнул Фреди.

Кропетт побелел как полотно (бедняга братец был навсегда скомпрометирован!). Я принес пузырек, отсчитал каплю за каплей лекарство — операция длилась долго, — насчитал сто капель и долил в склянку воды, чтобы уровень оставался прежним.

— Но при вскрытии обнаружат отравление! — прошептал любимец Психиморы.

— Не выдумывай! Никакого вскрытия не будет. В худшем случае решат, что она по ошибке приняла слишком большую дозу.

— А куда же ты подольешь?

— Завтра утром подолью в кофе. Фреди отвлечет на минутку Фину, а я в это время вылью белладонну в чашку.

Все прошло благополучно! Но увы! Мы не предусмотрели одного обстоятельства: Психимора так долго и в таких больших дозах употребляла это зелье, что приобрела против него иммунитет. Огромная доза белладонны вызвала у нее лишь сильные колики. Сидя за уроками в классной комнате, мы ожидали трагической развязки. Ничего не произошло. Ничего, только десять раз кряду с жалобным скрипом открывалась и закрывалась дверь в клозете угловой башенки. Фреди, посланный на разведку, установил, что пачка туалетной бумаги, предназначенная для личного пользования Психиморы, сильно уменьшилась в объеме. (Нам же разрешалось употреблять только газету «Круа», и лишь после того, как Фина обрежет ножницами напечатанные в левом углу сей благочестивой газеты ее название и клише с изображением Голгофы. Нельзя же для столь низменных нужд пользоваться столь высокой эмблемой.) Мегера вышла к завтраку, съела три листочка салата и без единой жалобы поднялась к себе в комнату.

— Нужно было взять цианистый калий, которым отец морит жуков, — заявил Фердинан.

— Да что ты! Цианистый калий оставляет характерные следы! — испуганно забормотал Кропетт.

— Не волнуйтесь! Мы еще доберемся до нее. Очень скоро может произойти несчастный случай, — заметил я в заключение.

В течение нескольких недель я ломал себе голову. Что ни говори, но подготовить несчастный случай не так-то легко. Я не задумывался над самой сутью дела, над чудовищностью такого преступления — в моих глазах оно было столь же естественным, как уничтожение кротов или крыс. Но, если отказаться от яда, этого оружия слабых, который при наличии современных токсикологических лабораторий является средством не слишком надежным, как сделать так, чтобы все поверили в естественную смерть Психиморы? Право же, не так-то это легко. Убийцы и их подручные, которым попадет в руки моя книга, отлично меня поймут.

Случай наконец представился! Представился во время нашей лодочной прогулки по речке Омэ. Однажды в воскресный день мы с братьями решили подняться вверх по течению вплоть до плотины, находившейся в двух километрах от нашего парка. В принципе мы не имели права уплывать так далеко, но прогулка была столь заманчива, что мы забыли, чем это нам грозит. Надо сказать, что Омэ за пределами парка, где

ее русло было искусственно расширено, превращалась в ручей, протекавший под нависшим сводом зеленых ветвей и колючих кустарников. В довершение иллюзии, любезной сердцу пятнадцатилетних, в нашей Амазонии (как мы называли этот дикий уголок) речка на поворотах была перегорожена затонувшими стволами деревьев, которые увязали в тине; и как увлекательно было перетаскивать на руках лодку через эти препятствия.

В начале наша экспедиция шла успешно. Погода стояла прекрасная. Словно сапфировые стрелы, проносились над водой зимородки и с такой поразительной точностью влетали в свои гнезда, вырытые в берегах реки, что казались шариками бильбоке. Я увидел, что до одного гнезда можно добраться, чуть не полчаса упорно раскапывал норку и наконец схватил самку, которая сидела на яйцах в самой глубине норки.

— Задуши ее, — предложил Фреди.

Душат только змей, молодых голубков и подстреленных куропаток… Я вынул одну из многочисленных булавок, воткнутых в лацкан куртки, и вонзил ее под крыло птицы. Я не сразу нашел сердце, пришлось несколько раз втыкать булавку под теплые перышки. Кропетт отвернулся — экая

девчонка! Наконец зимородок все-таки умер, теперь он больше не будет хватать уклеек, проносясь над самой водой. Я положил птицу в карман. Возможно, я сделаю из нее чучело, как учил меня отец. Вспарывают на брюшке шкурку, отделяют ножки и крылья, отрезают их кривыми ножницами, обсыпают шкурку порошком сухих квасцов (квасцы украду с чердака, где отец держит свои музейные экспонаты), и трофей хранится до тех пор, пока его не съест моль.

Едва я закончил это мелкое преступление, готовясь совершить более страшное, как раздались хорошо знакомые вопли Психиморы, вышедшей на военную тропу:

— Дети! Дети! Где вы? Куда вы девались?

— Только этого еще не хватало! Поди ты к чертовой бабушке! — пробурчал Фреди, считая это выражение крепким мужским ругательством.

— Ну и попадет же нам! — простонал Кропетт.

Мы живо повернули обратно. На мостике (предел дозволенных прогулок) нас поджидала Психимора. Она еще издали крикнула нам:

— Немедленно вылезайте из лодки и отправляйтесь домой.

— Молчите, — сказал я тихо, — молчите и предоставьте действовать мне. Мы проедем под

мостом. Фреди, дай-ка весло.

Решив, что она угадала мои намерения, Психимора уселась на балку главную опору мостика, твердо решив спрыгнуть в лодку, когда та будет проплывать под мостом. По воле течения и благодаря моим стараниям лодка подплыла к балке, но в то мгновение, когда Психимора прыгнула, я круто повернул направо, и наша матушка упала в воду. Я крутанул руль в обратную сторону, и лодка проплыла над самой ее головой, даже царапнула ее днищем, обшитым листовым железом. Мне удалось отплыть на такое расстояние, чтобы она не могла ухватиться за борт. Делая вид, что я растерялся, я нарочно выронил весло — у меня теперь было, так сказать, официальное доказательство, что я не мог прийти ей на помощь. Кропетт издавал жалобные крики, а Фреди в экстазе потирал нос справа налево и все твердил:

— Блеск! Блеск!

Не такой уж, впрочем, блеск. Психимора барахталась в воде, в этом водорослевом бульоне, да, барахталась, а ко дну не шла. Она не кричала, не обращала на нас никакого внимания. Она пустила в ход все приемы плаванья, которым ее начали обучать в детстве, — впоследствии она забросила этот спорт, но, на нашу беду, еще

помнила достаточно, чтобы держаться на воде и даже проплыла несколько сантиметров к устою мостика. Фреди уже не ликовал.

— Вылезет! Вылезет, окаянная! Надо ее ногой по башке двинуть!

Однако этот дельный совет он прошептал мне на ухо. Но, сами понимаете, никто из нас не смел и пошевельнуться. Во-первых, приблизиться к ней было невозможно: весло уплыло, и мы могли грести только руками. А во-вторых, сознательную неловкость еще можно истолковать как нечаянную, но ударить утопающего по голове — это поступок совершенно недвусмысленный и влечет за собой ответственность. С бешеной ненавистью в сердце я смотрел, как Психимора спасает себя собственными силами. Именно собственными силами, ведь в этой женщине было два существа: хрупкая, лишенная мускулов, еле живая мадам Резо, вся в рубцах от тяжелых операций, и неукротимая Психимора, твердо решившая выжить и сохранить жизнь своему двойнику. Она с трудом держала над водой голову с распустившимися мокрыми волосами, захлебывалась, но тотчас выплевывала мутную воду, она не желала тонуть вопреки мольбам, воссылаемым нами дьяволу.

Вот она подплыла к берегу, вот ухватилась за пучок шалфея, он оборвался, снова упала в воду, вот уцепилась за кустик покрепче, кое-как вскарабкалась на берег и в изнеможении рухнула на траву. Спаслась!.. И недолго она пролежала. Нельзя выказывать свою слабость перед тремя дурачками — ведь ей и в голову не приходило, что по крайней мере двое из них сговаривались ее утопить и теперь в растерянности застыли в своей лодке, лишившейся такелажа. Психимора поднялась с земли, поднялась в мокром платье, облепившем тощие бедра, и сразу начала орать:

— Да гребите же вы руками, болваны эдакие! Я вам задам за ваше катанье в лодке.

Фреди подчинился приказу.

— Хороша работка, нечего сказать, — заворчал он.

Кропетт проговорил очень громко:

— Надо же быть такими неловкими, вот безобразие!

И Психимора, которая держится на ногах только силой воли, вдруг улыбнулась и, отряхиваясь, как мокрая собака, уже не думая о нас, торопливо зашагала к усадьбе, получив теперь великолепный предлог для репрессий.

XVII

Запрещено кататься на лодке — всем! Наказанье заслуженное! Рулевого под запор в его комнату. За что же на него возложена особая кара? Неловко повернуть руль — не преступление. В последнюю минуту Психимора добилась (не знаю уж каким образом), чтобы меня высекли. Набравшись минут на пять храбрости, Фреди во всю прыть промчался по коридорам второго этажа, чтобы сообщить мне об этом через дырку в перегородке.

— Психимора сама срезала прут и дала его аббату. Что ты будешь делать?

Я зарычал:

— Вот увидишь, приятель, позабавимся!

«Приятель» помчался в обратный путь. Я слышал, как он кубарем скатился по лестнице. Снизу доносились какие-то неразборчивые возгласы — его позвали. А тем временем я перетаскиваю шкаф, милый мой старый шкаф, источенный червями, в нем иногда укладывался спать Фреди, накрывшись старым тряпьем, и мы без конца перешептывались в долгие зимние ночи. Шкаф

приставлен вплотную к двери (замочная скважина, кроме того, заткнута карандашом), и я подпираю его всем, что попадется под руку: тут и стол, и кровать, и стулья. При таком заграждении, если только не прибегнуть к помощи тарана, ворваться в мою комнату почти невозможно.

Проходит десять минут. Вдруг заскрипели башмаки — шествует аббат № 7. Он вежливо стучится в дверь. Не помню уж когда, какой-то герцог, состоявший наставником наследного принца, порол его розгами, зато неизменно соблюдал придворный этикет: «Соблаговолите, ваше высочество, принять наказание». А ну, ваше преподобие, кто кого!

— Уберите из замочной скважины карандаш, я не могу вставить ключ.

Никакого ответа.

Аббат № 7 не настаивает. Он выполнил свое дело и теперь идет доложить о результатах. Он спускается по лестнице. В сущности, он очень недоволен: он находит, что мне назначено или слишком слабое наказание, если я нарочно столкнул мать в воду (этому, однако, никто не верит), или слишком строгое, если я сделал это по неосторожности. По справедливости следовало бы наказать также и моих братьев, ибо они тоже

совершили это путешествие вверх по Омэ. Если сегодня меня считают зачинщиком, почему же в прошлый раз вспомнили, так сказать, право старшинства и наказали одного Фреди? В этом нет никакой логики, и я это прекрасно понимаю. У меня очень сильная позиция. Даже мои братья не посмеют утверждать, что я хотел нарочно... Молчок, я в своем праве. Ни за что не открою дверь. «Они» смогут только взломать ее, да и то если решатся позвать на помощь Барбеливьена. Но и тогда вряд ли меня схватят — я выпрыгну в окошко.

Но вот целый отряд идет на приступ. Узнаю пронзительный визг Психиморы, важный голос отца, мычанье и тявканье Фины. Они остановились и уткнулись носами в дверь, как рыбки скалярии в стенку аквариума. Потребовали сдаться.

— Вытащи карандаш! — верещала Психимора, захлебываясь от злости.

— Послушай, Жан, будь рассудительным, отопри дверь, — произнес отец глухим голосом: вероятно, он по привычке жевал усы.

— Отоприте, Жан, отоприте, Жан! Отоприте, Жан, — бубнил аббат однозвучно, как кулик на болоте.

Молчание. Осаждающие совещаются. Папа говорит с оттенком испуга в голосе:

— А вдруг с мальчиком что-нибудь случилось?

Для его успокоения я насвистываю несколько тактов знакомой ему песенки «Малютка Марго».

— Он еще издевается над нами! — снова визжит Психимора.

Наваливаются на дверь. Толкают плечом. Толкают еще сильней. Запор не выдерживает, но к двери вплотную придвинут шкаф. Сквозь узенькую щелку Психимора разглядела баррикаду из мебели, нагроможденной у двери моими стараниями.

— Мальчишка с ума сошел! Он загородил дверь платяным шкафом. Надо позвать Барбеливьена, пусть придет с топором или с ломом.

— Ну уж нет, Поль, извините! Прошу без скандалов!

Засим следуют различные возгласы, все они исходят от Психиморы, гамма ее выкриков достигает самых верхних нот, еще немного — и ее визг окажется за звуковым барьером и будет недоступен человеческому уху. Папа и аббат Траке молчат. Оба поняли, насколько серьезно положение. Над «Хвалебным» реет черное знамя бунта. На нем начертаны бесконечные семей-

ные распри, раскол и громкие скандалы. Крайне заинтригованные и повеселевшие Фреди и Кропетт, притаившись в конце коридора, созерцают поразительное зрелище: один из отпрысков Резо восстал против домашнего правосудия и запер свою дверь перед его носителями. Я не вижу братьев, но представляю себе эту картину, ибо наша мегера в приступе лютой злобы вдруг крикнула:

— Вон отсюда! Убирайтесь, мерзавцы, в свои берлоги!

— Держите себя в руках! Успокойтесь, дорогая! — бормочет отец. — Крики ничему не помогут. Не забывайте, черт возьми, что мы носим фамилию Резо!

Переведя дыхание, он пытается возобновить переговоры:

— Ну, Жан, отвори дверь, я отменю обидное для тебя наказание. Ты просто посидишь неделю под арестом в своей комнате.

Но проклятая мегера тотчас завизжала:

— Ну уж нет! Как бы не так! Я не уступлю наглому мальчишке, посягнувшему на мой авторитет.

У меня на языке вертится крепкое словечко. Оно жжет мне губы. Но я промолчал. Так лучше. Нельзя, чтобы меня считали святотатцем, попирающим материнские чувства. Надо по-прежнему

разыгрывать оскорбленное достоинство — мне бы эта мысль и в голову не пришла, если б ее любезно не подсказал мне сам папаша. Таким образом я произведу наибольшее впечатление на него, на аббата Траке, даже на Психимору. Преимущество будет на моей стороне. Стоп, осторожнее! Психимора вдруг сказала:

— Остается только одно: приставить лестницу к окошку.

Я бросаюсь к окну. Хватит ли у меня материала для второй баррикады, сумею ли я преградить второй путь вторжения? К счастью, трудно ворваться в окно, когда осаждающий с трудом удерживает равновесие на верхушке лестницы. Достаточно будет заткнуть проем тюфяком и подпереть его двумя стульями. Я проделываю все это с лихорадочной поспешностью, и вторая волна штурма разбивается об это новое заграждение.

— Негодяй! Он все предусмотрел.

Я узнаю голос матери, приглушенный голос: он доносится сквозь комки сбившегося конского волоса в моем тюфяке. И тотчас мне приходит мысль: «И как это еще у нее хватает силы вести нападение, ведь она вся в шрамах, а нынче днем чуть не пошла ко дну. Ну и характер!» Я горжусь и ею и собой.

В течение целого часа следуют друг за другом мольбы, требования, угрозы отдать меня в исправительную колонию. Напрасные старания. Голоса раздаются за дверью, голоса раздаются за окном. Они уже начинают ослабевать. Осаждающие устали.

— В конце концов голод выгонит волка из лесу. Посмотрим, что запоет наш молодец, когда ему не дадут завтракать.

Так сказала Психимора. Что это, ловушка? Может быть, они хотят ослабить мою бдительность, ворваться ко мне, когда я усну? И я жду новой атаки. Она не состоялась. Я отодвигаю распятие.

— Слушай, Фреди!

— Они уже легли, старина, легли. Я только что ходил в нужник. В коридоре никого нет. Да, здорово это ты! А завтра что ты будешь делать?

Не имею об этом ни малейшего представления. Однако отвечаю:

— Будет еще веселее, вот посмотришь.

На следующее утро, до мессы, Психимора, аббат, отец, Фина, оба мои брата (их позвали для острастки) собрались у моей двери, замочная скважина которой по-прежнему была заткнута карандашом.

Фреди, от которого я узнал эти подробности,

заверил меня, что, кроме аббата, у всех был встревоженный вид. Психимора куталась в свой неизменный халат из серой фланели с блеклыми настурциями, и ее била нервная дрожь. У отца глаза опухли и покраснели от бессонной ночи.

— Ну как? Одумался? — закричала Психимора и, не дожидаясь ответа (который, вполне естественно, не последовал), приказала Кропетту: — Ступай за Барбеливьеном да скажи ему, чтобы захватил с собой железный лом.

За ночь она переменила решение. Морить меня голодом она сочла опасным: от мальчишки с такой упрямой башкой можно ждать самого ожесточенного сопротивления. Какой пример для братьев! И какая же это победа, если в конце концов герой свалится в постель от голода и его придется еще лечить! Нужно было схватить меня в моем логове немедленно. Наплевать на скандал! Отца она заставила согласиться с ее доводами.

Пришел Барбеливьен, распространяя вокруг запах коровника; он оставил свои деревянные башмаки на кухне и, вооружившись ломом, поднялся в одних носках на второй этаж. По обыкновению он шмыгал мокрым носом. Уже зная от Кропетта о случившемся, он только пробурчал:

«Здравствуйте вам» — и тотчас принялся за работу. Справился он быстро. Поднажал хорошенько, и дверь распахнулась.

— Да что же это такое! — в последний раз взвизгнула потрясенная Психимора.

Комната оказалась пустой. В ней царил образцовый порядок. Платяной шкаф стоял на своем обычном месте. Постель даже не была смята или же вновь старательно оправлена. На столе лежал сложенный вчетверо листок бумаги, вырванный из тетради. Отец сразу его заметил:

— Он оставил нам записку.

Но записка состояла всего лишь из двух букв, из двух огромных заглавных букв, начертанных синим карандашом: «М.П.».

XVIII

В это самое время скорый парижский поезд мчался вдоль длинного султана собственного дыма к Ле-Ману через Бокаж. То есть через один из тех уголков мира, где больше всего коров, глядящих вслед пробегающим поездам. Расположившись в правом углу купе, я курил сигарету и читал (да простит мне бог!) «Ле попюлер»[17]. Я сидел в правом углу, потому что обычно это место предназначалось Психиморе, когда мы ездили поездом по узкоколейке в Анже. Сигарету я курил потому, что отец почти никогда не курил, а читал «Ле попюлер» потому, что это газета социалистов и, следовательно, враждебная лагерю Резо.

Решение о бегстве я принял в четыре часа утра. Я вдруг ясно представил себе положение вещей, понял, что Психимора, боясь показаться смешной, не решится вести в своем собственном доме осаду комнаты провинившегося сына. Но допустить, чтобы меня схватили и высекли, — ни за что на свете!.. Как раз недавно я прочел отрывок

---

[17] Примечания: 17

*«Ле попюлер» («Le Populaire») — ежедневная газета социалистического толка, главный орган французской секции рабочего Интернационала.

из Шатобриана, где он рассказывает о своем сражении с учителем, которому было поручено его выпороть. Generose puer![18] Я поступлю так же, как он. И даже еще лучше! Скорее в путь!

Куда же отправиться? Ясно, черт возьми, в Париж! В Париж, к дедушке Плювиньеку! Я официально потребую, чтобы он нас рассудил. Я буду посланником нашего тайного общества. Это довольно рискованно, но иного выбора нет. Я рассчитываю на растерянность, которую вызовет мое бегство, на спасительный страх, который мой бурный протест внушит отцу, и на то, что родителям придется во избежание нового скандала вступить со мной в переговоры. Рассчитывать-то я рассчитываю, да не очень. Все эти соображения пришли ко мне уже после бегства, когда я старался оправдать свое решение. Сначала эти соображения у меня не возникали или, во всяком случае, не возникали в связном виде. Если бы нужно было все заранее обдумывать, взвешивать все последствия своих действий, прежде чем «почувствовать их необходимость», я не был бы самим собой, я не мог бы жить.

Я не захватил с собой никакого узелка с пожит-

---

[18] Примечания: 18

Правильно «generosus puer» — благородный юноша (лат.).

ками: надел свой лучший костюм (относительно приличный) и темно-синюю суконную пелерину. На дорожные расходы я взял деньги из нашей тайной кассы; как вам известно, под плиткой пола еще оставалось двести франков. Наведя порядок в комнате, я спустился из окна по лестнице, которую осаждающие забыли убрать. Заметьте, впрочем, если бы лестницу убрали, я спустился бы более живописно, воспользовавшись простынями (этот романтический способ я узнал из книги «Парижский мальчишка» — «Иллюстрированная библиотека»).

Я отмахал галопом шесть километров до Сегре, купил на станции пачку сигарет «Голуаз», вскочил в поезд, отходивший в пять тридцать семь, — все это я проделал как автомат. И вот я с удовлетворением мчусь в своем скором, сожалея лишь о том, что братья не могут видеть меня, и нетерпеливо ожидая, когда же замелькают за окном незнакомые пейзажи. За Ле-Маном, за Ножан-ле-Ротру поля уже не разрезаны на противные клеточки бесчисленными живыми изгородями, а широко раскинулись на все стороны, залиты солнцем и беспредельны, как моя сегодняшняя свобода.

В вагоне народу не густо. Напротив меня на

скамейке сидят только три пассажира — немногочисленное семейство: отец — безобидное существо в старомодных брюках в полоску, мать с прической на прямой пробор, дочка, вероятно моя ровесница, всю суть которой выдают опущенные ресницы. Они обмениваются слащавыми словечками «мамочка», «милочка», чмокают друг друга в шею. Девчонка отказывается от бутербродов с ветчиной, потом от ломтика холодного ростбифа. Кривляка! Отвратительная ломака, хотя и недурна, а самодельный свитер (неровные петли выдают неопытную руку) туго обтягивает юную грудь, на которую приятно смотреть. Мне вспомнилась Бертина Барбеливьен или, вернее, Мадлен из «Ивняков», у которой грудь побольше и соблазнительно подрагивает под корсажем. Вот если бы можно было ее потрогать! Не знаю почему, но мне очень хочется это сделать, любопытно, как она устроена, упругая ли она и как прикрепляется к телу: так же, как щека к лицу или, скажем, как яблоко к ветке? Поразмыслив, я решил, что, наверное, похоже и на то и на другое. А поразмыслив еще, я пришел к выводу, что эта девчонка меня просто раздражает — так и тянет смотреть на нее, как будто в ней есть что-то необыкновенное, и это открылось мне только се-

годня. Меня раздражают ее скромно опущенные ресницы, которые она, случается, поднимает, бросая взгляд быстрый, как уклейка, мелькающая в камышах. Я встаю и, выйдя в коридор, смотрю в окно на равнину Бос, развертывающуюся передо мной, как полотнище набивного ситца соломенно-желтого цвета с пестрым узором из васильков и маков. Но когда Мари-Тереза (так ее зовет мать) выходит из вагона в Шартре, я радостно пользуюсь случаем и так неловко даю ей дорогу, что она невольно касается меня всем телом — я даже почувствовал, где у нее находится под плиссированной юбочкой пряжка подвязок, подхватывающая бумажные чулки.

Вот и ушла эта девица, и я шагаю по коридору. В вагоне есть и другие женщины, по они либо слишком молоды, либо слишком стары. Ничего интересного. Ну, оставим все это. Ведь говорил же Фреди: любовь — то же самое, что любовь к господу богу, о которой нам прожужжали все уши, значит, наверняка это дурацкая выдумка! Я пропустил вид, открывавшийся на «Швейцарское озеро» в Версале. Черт с ним! Мне столько уже наговорили об этом знаменитом ландшафте, на который глазеют все пассажиры, высовываясь из окон вагонов. За упущенное зрелище меня возна-

градила картина парижских пригородов. Какой же это садовод полными пригоршнями разбросал семена, из которых повырастало такое разнообразие вилл и дачек? У меня весьма прочные эстетические позиции, и в большинстве своем эти домишки, на мой взгляд, достойны только лавочников, удалившихся на покой. Меня коробит при мысли о близком соседстве с выстиранным бельем, сохнущим на веревках, и с клетками, где разводят кроликов. Почему не научили парижан прикрывать сараи и курятники живой изгородью из лавровых кустов? Я еще не знал, что широко располагаться в земельных владениях — это роскошь, доступная лишь буржуазии. И что цена на землю в Кранэ позволяет устраивать там «зеленый пояс», который не под силу людям, живущим в «красном поясе» столицы.

Монпарнас! Наконец-то! Я выскакиваю на перрон. Толпа подхватывает меня и несет к турникету. Я героически одинок, я, первый из братьев Резо, смело ступил на мостовую Парижа. Но я уже не так уверен в себе и совсем не уверен, что меня ждет у Плювиньеков, людей незнакомых, теплый прием. А прежде всего, как добраться до Отея? Очевидно, на метро, хотя бы для того, чтобы познакомиться с этим любопытным подземным

способом сообщения. Но в какую сторону ехать? Я расспрашиваю, блуждаю по лабиринту коридоров, облицованных белым кафелем, как стены молочных, снова навожу справки. Контролер, сжалившись над замешательством юнца, участливо говорит, обдавая меня запахом чеснока:

— Поезжай в сторону Этуаль, на станции «Трокадеро» пересядешь и поедешь к «Порт д'Отей». На остановке «Мишель-Анж-Отей» выходи... Только не спутай с «Мишель-Анж-Молитор», не забудь!

Он говорит со мной на «ты», и это «тыканье» совершенно неуместно, но надо быть снисходительным к мелкой сошке, когда она хочет оказать тебе услугу. Так уж ведется в нашей семье — такой традицией, по словам отца, мы заслужили популярность в Кранэ. Я бросил в ответ: «Спасибо, любезный!» таким тоном, что контролер остолбенел, а я тем временем вскочил в первый вагон, будто нарочно остановившийся напротив меня. Двери автоматически захлопнулись и зажали полу моей пелерины. Я не умею отворять такие двери и с достоинством жду, когда на следующей остановке кто-нибудь войдет в вагон и освободит меня.

Наконец, около пяти часов вечера, я добираюсь

до улицы Пуссэн и подхожу к дому, где живет чета Плювиньеков, увлекающаяся одновременно светской жизнью и политикой — мой дед и моя бабка — увы! — по линии Психиморы. Я прохаживаюсь перед парадным, не решаясь войти. Почтенного вида консьержка, нисколько не похожая на обычных привратниц бедных кварталов, выходит из швейцарской — ах, извините! — из конторы этого роскошного дома и обращается ко мне с вопросом:

— Вы кого-нибудь ищете?

— На каком этаже живет мсье Плювиньек?

— Мсье сенатор? На втором.

— Направо, налево?

— Прямо против лестницы. В нашем доме, — добавляет она с гордостью, только по одной квартире на каждом этаже. Но должна вас предупредить, что к этому часу сенатор еще не возвращается из Люксембургского дворца.

— А бабушка дома?

Консьержка поражена и окидывает меня испытующим взглядом — мой костюм, по-видимому, не внушает ей восторга. И тогда я замечаю, что у нее рыжие волосы.

— Простите… а мадам Плювиньек вас ждет?

И, спохватившись, добавляет на всякий слу-

чай:

— Мадам Плювиньек, наверное, ждет вас, мсье?

— И не думает. Я удрал из дому.

С натянутым видом рыжая впускает меня в контору. Тут все начищено до блеска, не то что у нас в гостиной. Она предлагает мне стул и говорит:

— Пойду доложу мадам Плювиньек. У нее больное сердце, и ей предписано избегать волнений.

Проходит десять минут. Наконец консьержка возвращается, сопровождаемая лакеем в полосатом жилете и горничной в кружевной наколке. Все трое смотрят на меня почтительно, но тревожно. Появляется и четвертое действующее лицо в прекрасно сшитом фраке. Я встаю.

— Сидите, сидите, мсье. Я служу дворецким у мсье сенатора. А вы кто будете, мсье?

— Жан Резо — внук мсье Плювиньека.

Это обилие «мсье» начинает меня раздражать. Я сажусь. Хотя я и плохо одет, я имею право и даже обязан сесть. Ведь этот человек во фраке просто-напросто лакей высшего сорта. Он скалит клыки, как будто собирается укусить меня, несмотря на свою чопорность. Пусть он знает, что мы, Резо, хоть и бедные, нисколько не ниже богатеев Плювиньеков.

— Вас как зовут, милейший?

— Фелисьен Даркуль, к вашим услугам.

Угодливый изгиб его спины усилился. Он понял: породистого щенка сразу видать.

— Так вот, Фелисьен, я жертва несправедливости и не желаю терпеть наказания, оскорбительные для моего достоинства! И поэтому я приехал просить, чтобы мсье Плювиньек, глава нашей семьи, рассудил нас.

Это неправда. Мсье Плювиньек, хоть он и приходится мне дедом, вовсе не является главой нашей семьи. Я и не собирался провозглашать его главой, этот дипломатический термин нечаянно сорвался у меня с языка. Четверо моих собеседников многозначительно переглянулись. Поняли наконец, что я не сумасшедший и не какой-нибудь заразный. А горничная-то тоже миленькая, и грудь у нее красивая. В конце концов слуги поднимаются по лестнице, за исключением консьержки, которая теперь уже не решается присесть на стул в моем присутствии и говорит со мной чрезвычайно почтительно. Здорово! У Плювиньеков строго соблюдается этикет.

Жду еще минут пять. Нельзя сказать, что в этом доме меня встретили невежливо, но и нельзя утверждать, что при первом моем посещении

бабушки (никогда, впрочем, не выражавшей желания познакомиться со мной) мне оказали чересчур теплый прием. Я презираю или, вернее, меня научили презирать плебейские звонкие поцелуи и прочие проявления нежности, но такие церемонии — это уж чересчур! Все это спесь, которую выдают за гордость. Вот она, порода жирафов. Вытянув свои длинные шеи, все в пятнах предрассудков, они пережевывают четыре сухоньких листика, трепещущие на самых верхних веточках генеалогического древа.

Внезапно раздается собачье тявканье. Консьержка бросается к двери, отворяет ее, и в комнату врываются три белоснежные болонки. Появляется бабушка, все еще белокурая, предшествуемая своим лорнетом, животом и ароматом крепких духов. Она оставляет на моем лбу след накрашенных губ, отходит на пять шагов и нацеливает на меня свои дальнозоркие глаза. Комната становится ужасно маленькой. Она говорит, и слышен только ее голос:

— Что за фантазия пришла тебе в голову, дитя мое? Надо было предупредить нас за две недели. Мы бы обсудили… Да, да. Я понимаю, ты не мог предусмотреть своей выходки. И все же, как это досадно! У меня сейчас хлопот по горло, а сенатор

просто не выходит из Люксембургского дворца ведь министерство, того и гляди, рухнет. А как ты вытянулся, ведь тебе еще очень мало лет. Но вид у тебя неважный. Я знаю, что у всех Резо здоровье плохое. Но, надеюсь, наша кровь все переборет. Боже мой! Кто тебя так ужасно вырядил? Ну идем! Надо немедленно принять ванну. Я уверена, что ты голоден. Жозетта! Фелисьен! Ах, боже мой, какая неожиданность! Юрбен! Скорей пошлите телеграмму моему зятю, чтобы его успокоить. Ну а что это за трагическое происшествие, о котором мне сейчас сказали, гадкий мальчик? Ты отказался подвергнуться оскорбительному наказанию? Узнаю фамильную гордость Плювиньеков. Вот уж не думала, что Жак будет так жесток со своими детьми. Но мы все это уладим. Сейчас главное — вода и мыло! Прежде всего ванна. А затем мы купим для тебя приличный костюм. Ну иди скорее, дитя мое.

Пока мы с бабушкой поднимаемся в лифте, она без умолку лепечет какие-то светские пустячки. Дворецкий галопом взбегает по парадной лестнице, на что ему дает право его должность. Остальные слуги направились в хозяйские апартаменты по черному ходу. Я вступаю в холл, меня поражает его роскошная обстановка и пышный

ковер, в котором утопают ноги, но я изо всех сил стараюсь не показать своего восхищения. Жозетта завладевает мною…

— Пожалуйте со мной…

И вот я в ванне, совсем голый перед этой девушкой, это я-то, который мнил себя взрослым, а теперь я совсем голый, как маленький, и Жозетта, не догадываясь о моем смятении, трет мне живот и спину безупречно чистой перчаткой из мохнатой ткани с плотным, как у ковра, ворсом, трет так усердно, что у нее под блузкой колышется грудь.

Господин сенатор (пожалуйста, добрые люди, не забывайте этого титула, дающего право на признательность нации) возвратился домой поздно. Его белые гетры, безукоризненная складка на брюках, большой портфель из свиной кожи, сиреневый шелковый галстук бабочкой произвели на меня сильное впечатление. Господин сенатор имел рост метр восемьдесят семь сантиметров. Усы, не такие пышные, как у моего отца, он красил в черный цвет. Я внимательнейшим образом рассматривал его через стеклянную дверь бабушкиного будуара, загроможденного дорогими безделушками, но не спешил к нему выйти. Я ждал в окружении двух котов (один

сиамский, а другой дымчатый персидский) и трех болонок, совершенно одинаковых, их отличали между собой только по цвету ошейников. Я ждал в будуаре, вымытый, тщательно причесанный, надушенный, в костюме из черного бархата, в коротких штанишках; для меня это было оскорбительно, зато молодило бабушку.

Послышался домашний, совсем не сенаторский голос дедушки. Он говорил:

— Представь себе, дорогая…

Опустим этот разговор. Мадам Плювиньек удостоила его коротким смешком и поспешила большими глотками допить свою чашку чая. Господин вице-президент комиссии по вопросам морской торговли (дедушка занимал также и этот пост) продолжал:

— Я еще вам и другой анекдот припас. Вы знаете виконта де Шамбр, депутата от Нижней Луары?

Оказывается, бабушка знала этого «олуха».

— Говорят, он позвал в гости одного из наших сенаторов, а пригласительное письмо составил следующим образом: «Приходите к нам сегодня пообедать чем бог наклал». А далее подпись — «де Шамбр»… Если это и не правда, то ловко придумано.

Персидский кот подал голос вместо меня.

— А ну-ка, посмотрим на юного шуана, нагрянувшего к нам как снег на голову, — проговорил мсье Плювиньек. — Вы сказали, что он хочет прибегнуть ко мне как к арбитру? Что ж, это порыв чистой души.

В дверях будуара появилась высокая фигура, и, пробуя свои силы в роли Юпитера, мсье Плювиньек продекламировал громовым голосом:

— Так вот он каков, наш молодец! Упрямая башка! Узнаю свою кровь… А теперь расскажи о своей трагедии.

Я подошел к окну, принялся рассказывать. Он рассеянно слушал меня.

— Эге, — воскликнул он, прервав мое повествование. — Откуда у вас эта бронзовая статуэтка, дорогая? Я раньше ее у вас не видел. Где вы ее откопали?

Бабушка тем временем унимала подравшихся собачонок. Я кончил свой рассказ. Поверьте, я изложил только голые факты. Эти светские господа казались мне безнадежно пустыми. Дедушка, полагая, что ему уже все понятно, сделал широкий жест, и на руке его сверкнул бриллиант в четыре карата.

— Все это пустяки, дитя мое. Я уже давно твержу: Жаку недостает авторитета, а нашей Поль

— опыта. Но я положил себе за правило не вмешиваться в их дела. Да у меня на это и времени нет. Вот чем мы, государственные деятели, платимся за свои успехи на политическом поприще: мы не в состоянии уделять родным детям хотя бы частицу тех забот, которые отдаем общественному благу. Ты обратился ко мне за помощью, мальчик, и я не хочу тебя разочаровывать, я наведу порядок в своей семье. Но я тебя предупреждаю, сделаю это лишь во имя справедливости, и не вздумай впредь беспокоить меня по пустякам…

Сенатор достал из золотого портсигара сигарету и чиркнул платиновой зажигалкой. Затем небрежно вытащил из сафьянового бумажника несколько кредиток и сунул их мне в руку.

— Поживешь здесь, пока за тобой не приедет отец. Вот тебе немножко денег на карманные расходы. Не утомляй бабушку. Жозетта покажет тебе Париж.

Он вышел из комнаты, и даже скрип его ботинок свидетельствовал об их высокой цене.

— Право, этот мальчишка мне нравится… Как, портной принес мне новый костюм?.. Скажите Фелисьену, чтобы он…

И голос его затих, заглушенный плотными драпировками.

XIX

Отец не заставил себя ждать. На следующий день он уже был в Париже. Вернувшись из музея Гревэн, я, к великому своему удивлению, застал его в будуаре: он сидел в глубоком кресле и беседовал с бабушкой.

— А! Это ты, голубчик! — сердито сказал он.

— Жак, прошу вас, — тотчас вмешалась бабушка.

Но у отца не было воинственных намерений. Он просто соблюдал приличия.

— Ты нас так огорчил! — добавил он более мягким тоном. — Если ты действительно считал несправедливым наказание, которое тебе назначила мать, обратился бы ко мне. Я никогда не отталкивал своих детей…

— Подождите, — прервала его бабушка, — ведь мать действовала с вашего согласия!

Отец нетерпеливо затеребил усы. Моя выходка, очевидно, нисколько его не взволновала. Но он долго не мог простить мне то, что я обжаловал его отцовский приговор в высшей судебной инстанции, которую он не признавал законной. Как

только бабушка вышла из будуара, он поспешил сообщить мне об этом:

— Можешь быть доволен, дружок. Воображаю, каким извергом я выгляжу в глазах господ Плювиньеков, раз ты взмолился, чтобы они защитили тебя от злоупотребления отцовской властью!

Я не сразу ответил ему. Я думал о том, что, если бы мой сын выкинул такую штуку, я бы попросту отшлепал его как следует и притащил бы за уши домой. Психимора — не чета нашему папаше, она знала, что делать. Раз у человека нет ни капельки своей воли и он всегда подчиняется чужим желаниям, по какому праву он вечно твердит о своем авторитете? Авторитет завоевывают, а не выпрашивают, как потерянный мячик. Конечно, мне было немного жаль отца. Но я тут же вспомнил, что уже много лет нас мучили с его согласия, с его благословения и при его благородном содействии. И в бабушкином будуаре, где мне нечего было бояться, я нашел в себе смелость сказать этому человеку, который был моим отцом, и этому отцу, который не был настоящим человеком, мужчиной:

— Простите за откровенность, папа. Но зря вы твердите о своем авторитете. Никакого авторитета у вас нет!

От такого оскорбления отец вскочил, побагровел, как лакмусовая бумажка в кислоте, и чуть не задохнулся:

— Не смей… не смей… запрещаю… Ты просто…

Тут весьма кстати возвратилась бабушка.

— Ну вот, я так и думала, — сухо сказала она. — Жак, вы кричите, словно унтер. Если уж на то пошло, мы оставим мальчика у себя до тех пор, пока ваш гнев не утихнет.

И, повернувшись ко мне, добавила:

— После завтрака Жозетта поведет тебя на Эйфелеву башню.

Итак, я осматривал Башню в обществе служанки, именуемой в литературе камеристкой. В кабине подъемника, где стекла исцарапаны (вернее, были исцарапаны, так как их потом заменили другими), исчерчены надписями настоящих и поддельных женихов и невест всего мира, желающих увековечить здесь с помощью бриллиантового колечка свое имя, я воспользовался давкой и, прижимаясь к Жозетте, предательски обследовал строение ее тела около подмышек. Именно «около», потому что я не смел давать волю рукам. Молоденькая горничная сначала не удостоила заметить мои махинации, но в конце концов, улыбнувшись, крепко сжала мои запя-

стья. От этого жеста и от этой улыбки женщины, которая защищается, я преисполнился непомерным уважением к собственной персоне. Но все же я присмирел. Тем хуже для нее! Угасла и ее улыбка, тем хуже для меня!

Вечером я встретился с отцом. Лицо у него уже просветлело, ибо он весь день удачно трудился во славу двукрылых насекомых.

— На всякий случай я захватил с собой несколько ящиков, и в частности мои драгоценные экземпляры еще не описанных насекомых. Господа ученые в Музее очень заинтересовались, даже больше чем заинтересовались. Я особо оговорю в своем завещании, чтобы всю мою коллекцию передали в энтомологический отдел Музея. Вот не думал, что мои научные работы пользуются такой известностью. Знаешь, кажется, меня хотят представить по линии министерства народного просвещения…

Он с нежностью потрогал петлицу на лацкане своего пиджака. Затем приложил палец к губам. И наконец, с поразительным отсутствием логики, свойственным только ему, дал мирное завершение нашему утреннему разговору:

— Кстати, по поводу того, что я тебе нынче говорил… Я хочу, чтобы ты понял одно: когда у тебя

появляется такое чувство, такое ощущение… что с тобой поступили несправедливо… и что я не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить эту несправедливость… помни, что мне в таком случае приходится считаться с соображениями… считаться с высшими соображениями… Словом, с соображениями, побуждающими меня пренебрегать мелочами ради существа дела.

И мсье Резо откашлялся, чтобы прочистить горло, где застряли, на манер соломенной трухи, эти «высшие соображения». Прочистив горло, он проговорил почти искренне:

— Видишь ли, если бы ты, во имя семейного согласия, принес хотя бы сотую долю тех жертв, какие принес я (пожалуйста, не воображай, что по слабости характера, это неверно), то жизнь в нашем «Хвалебном» была бы сносной. Надеюсь, ты не сомневаешься, что я люблю своих детей?

Порыв (то, что называется на театральном жаргоне «порыв») отчасти искренний, а отчасти наигранный и в значительной мере объясняющийся актерскими чертами, которыми я обязан моему воспитанию и собственной натуре, порыв, говорю я, бросил меня в объятия мсье Резо, и он торжественно прижал меня к своей груди. А бабушка, обладающая острым сценическим чутьем

к выигрышным выходам, появилась из-за кулис как раз в нужный момент, дабы полюбоваться умилительной картиной…

— Ах! — воскликнула она. — Теперь я со спокойным сердцем отпущу вас домой.

Наш отъезд, которого от всей души желала эта важная дама, более привыкшая холить собачек, чем заботиться о детях, состоялся через день после осмотра еще нескольких исторических памятников. Перечисляю таковые в порядке значимости, которую придавал им отец: Собор Парижской богоматери, часовня Людовика Святого, Музей естествознания (вернее, энтомологический отдел), Лувр, Триумфальная Арка. Все.

Теперь я знал все о нашей столице. Во всяком случае, все самое существенное. Конечно, мы не успели осмотреть кое-какие второстепенные церкви и музеи, но у нас уже не осталось времени мерить шагами их половицы. Не заглянули мы и в Пантеон, но с тех пор как левые хоронят там своих великих людей, его уже нельзя считать национальным историческим памятником. Что же касается Дома инвалидов, то, бесспорно, «это впечатляет», но ведь, в конце концов, это лишь усыпальница генерала, который преследовал па-

пу Пия VII[19] (недаром этому папе — понятно, то мои догадки — дали такое смешное имя. Должно быть, перед лицом этого грозного завоевателя он намочил свою сутану!).

На этот раз мы приехали на Монпарнасский вокзал в машине — не в дрянном такси, а в роскошном автомобиле марки «изотта-фраскини», собственном автомобиле сенатора, который, кроме прочих своих должностей, состоял членом Национальной комиссии по развитию французской промышленности. За рулем в белой ливрее сидел Юрбен, совмещавший обязанности камердинера и шофера.

— Вот уж не думал я, что Плювиньеки такие богатые, — заметил я.

— Гм! — ответил отец. — Твой дед и бабушка беспечно проживают огромное состояние, которое оставил им твой прадед — он был банкиром и собирал свои капиталы по всем выгребным ямам Второй империи. Лучше не будем об этом говорить. Если бы эти богачи Плювиньеки помогали своим детям, многое бы им простилось. Но им на

---

[19] Примечания: 19

*Папа Римский Пий VII в 1804 г. короновал Наполеона Бонапарта. Однако вскоре между ними возникли серьезные разногласия и после присоединения Папской области к Франции (1809) Пий VII находился до 1814 г. во французском плену.

детей плевать! Они мало нами интересуются.

Этот выпад означал, что сенатор отказал отцу в денежной помощи. Мсье Резо и сам в этом признался.

— Впрочем, сегодня мне еще повезло. Твой дед выдал мне чек на пять тысяч франков. Бросил подачку! Мне было стыдно за него!

Отец взял билеты в третьем классе. На нашей местной линии мы всегда ездили во втором классе, но здесь нам не грозила встреча со знакомыми, которых весьма удивила бы такая экономия. Сняв габардиновое пальто, папа тщательно-завернул в него ящики с коллекцией насекомых и бережно положил их на полку для багажа. Затем надел очки, ибо уже становился дальнозорким, и развернул книжную новинку — второй том «Очерков по лингвистической географии» Доза. Но я вскоре прервал это высоконаучное чтение.

— Папа, а дедушка в самом деле очень важное лицо в сенате?

Мсье Резо посмотрел на меня поверх очков и сердито бросил:

— Не мешай мне читать.

Однако тут же заговорил, радуясь случаю ошельмовать своего тестя:

— Сенатор уже двадцать лет ждет, чтобы оце-

нили его патриотические чувства и назначили министром. Но никому он не нужен. Что заслужил, то и получил. Он человек безличный. Ты же знаешь, у Плювиньеков… — Резкий взмах правой рукой. — …нет убеждений.

Лишь только он произнес эти слова, в купе вошел и уселся на скамью какой-то человек. Уж у этого-то пассажира, несомненно, были убеждения, но — увы! — убеждения пагубные, так как он широко развернул газету «Юманите»[20]. В назидание мне отец стал неодобрительно покачивать головой, наподобие негра в автомате «Поклонение волхвов», когда туда опустишь десять су. Господи, прости им, ибо не ведают они, что читают! Мсье Резо знал, что читать, недаром его предки двести лет не дотрагивались до книг, находившихся под запретом. Он вновь углубился в чтение «Очерков по лингвистической географии». Поезд тронулся, а я делал отчаянные усилия, чтобы определить, составляют ли цифры в номере нашего вагона АН 1459457 простое число.

Появление контролера вернуло отца к обыден-

---

[20] Примечания: 20

*«Юманите» («L'Humanité») — французская ежедневная газета, с 1920 г. центральный орган Французской коммунистической партии.

ной действительности. Коммунист предъявил бесплатный билет железнодорожника. Все пассажиры в купе смотрели на него с обычной в таких случаях неодобрительной улыбкой. Мсье Резо протянул контролеру два обыкновенных платных билета. Старушка из богадельни с крестиком на тощей шее принялась лихорадочно рыться в своей сумочке, вывернула все карманчики, извлекла из них четки, зубную щетку, половину гребенки, номер «Лизетты»[21] и наконец нашла билет в уголке носового платка с меткой «М.М.» и с пятнами крови — у нее, должно быть, шла кровь из носа.

— Ребенку еще нет трех лет, — заявила ее соседка, дама с замысловатой прической, и торопливо посадила себе на колени мальчишку, про которого она только что сообщила нам, что он «очень развитой для своих пяти лет».

Пассажир, который дремал в углу напротив меня, прислонившись головой к полотняному чехлу спинки диванчика, проснулся и подал представителю железнодорожной компании длинную полоску бумаги, испещренную надписями жирным карандашом, такие билеты

[21] Примечания: 21

*«Лизетте» («Lisette») — журнал для девочек от 7 до 15 лет, содержавший в себе многочисленные комиксы, кукольные выкройки, игры и пр.

обычно выдаются при сложных маршрутах. Контролер повертел бумажку в руках, рассмотрел ее с оборотной стороны, высказал предположение, что тут вкралась ошибка, так как этот поезд не предназначен для тех, кто пользуется льготами во время отпуска, но не стал придираться и милостиво пустил в ход свои щипцы; однако, привыкнув пробивать твердый картон, они только мяли бумагу.

— Какие строгости пошли, — слабо запротестовал пассажир, когда скрылась фуражка с красным околышем, — видно, и последние наши права им поперек горла встали.

— Совершенно правильно говорите, — поддержал его человек, читавший «Юманите».

Вдруг мсье Резо ринулся в бой:

— Что вы жалуетесь, господа! Я вот плачу за свои билеты, и налоги я плачу, а мне налоговое управление делает скидку только на тридцать процентов — ввиду того, что у меня трое детей.

— И этой маленькой льготой вы обязаны рабочему классу, — насмешливо сказал коммунист, определив с первого взгляда, к какому классу принадлежит его противник.

Но тот уже закусил удила.

— О! — воскликнул он. — Я охотно отказался

бы от этой тридцатипроцентной скидки, если бы государство соблаговолило вернуть мне то золото, которое я дал ему в долг, а получил за это бумажки.

— Делать сбережения — ошибка, согласен с вами, — сказал коммунист.

Сбережения? Кто их будет делать? Носитель имени Резо? За кого же здесь принимают моего отца? Обдумывая ответ, он соглашался лишь на то, чтобы заменить слово «предки», обидное для тех, кто их не имеет, словом «поколения».

— Когда многие поколения, — сказал он, — терпеливо создавали состояние и на твоих глаза оно рушится за несколько лет из-за финансовой демагогии, которая систематически подкапывается под обладателей ренты, тут уж не приходится гордиться своей страной!

Коммунист перешел в нападение:

— Обладатели ренты! Ну, милостивый государь, хорошо еще, что им дают эти облигации! Я вот, например, имею бесплатный билет, потому что я железнодорожник, помощник начальника станции, но никаких рент у меня нету, и это нисколько не вредит моему здоровью. Я работаю. Если бы и господа буржуа работали, вместо того чтобы жить бездельниками, то есть паразитами,

страна не дошла бы до теперешнего положения.

И тогда мсье Резо, воинственно ощетинив усы, воскликнул:

— Не клевещите на буржуа, мсье! Буржуа — это олицетворение благоразумия, рассудка и традиций Франции.

— Не Франции, а франка. Так будет вернее.

Отец на лету перехватил эту парфянскую стрелу и, чтобы она не вонзилась слишком глубоко в его грудь, пустил ее обратно в нападающего:

— Правда, ведь нам, буржуа, не известен курс рубля.

После такого обмена любезностями противники умолкли. За окном бесконечной лентой проносились пейзажи, и я (который никогда не бывал в кино), позевывая, смотрел на этот документальный фильм. Старуха из богадельни улыбнулась мне, так как я оказался сыном защитника общественных устоев. В Сабле поезд перевели на местную линию, и вагон наполнился белыми чепцами крестьянок и корзинками, из которых высовывались головы уток. В Грезан-Буэр железнодорожник сошел, посмотрев на попутчиков с ехидной улыбкой. На перроне его ждали приятели, или, говоря его языком, товарищи, и, несомненно, он пересказал им свой

разговор в вагоне, так как до нас долетел обрывок фразы:

— …Ну и отщелкал я его!

Раздраженный мсье Резо вдруг обнаружил, что ему мешает солнце, и, дернув шнурок, спустил шторку, закрыв этим голубым веком око Москвы. Заметив на лицах новых пассажиров одобрительные улыбки, он с показным отвращением схватил «Юманите», забытую на скамье коммунистом, и, скомкав газету, швырнул ее под скамью. Поезд двинулся дальше, в Кранэ, в край кочанной капусты, коснеющих шуанов, кроликов, круглоглазых сов и каркающих ворон, кружащих над колокольнями: «Веррую, вер-р-рую, вер-р-рую!» В Шато-Гонтье поезд опустел: крестьяне отправились по другой ветке в Кранэ на ярмарку. Мы остались одни. Наконец-то появился и Сегре, центр супрефектуры, произвольно зачисленной членами Конвента в департамент Мен-и-Луара, край, богатый железной рудой, которую, однако, так и не смогут разрабатывать на полную мощность, пока к шахтерам будут проникать крамольные идеи смутьянов железнодорожников и прочих читателей «Юманите». Выйдя из вагона, отец смущенно пробормотал скороговоркой:

— Матери скажем, что я простил тебя по случаю

твоих именин.

Я резко остановился:

— Нет, папа. Вы просто отменили несправедливое наказание.

С трудом удерживая в руках свои ящики с двукрылыми, отец, заметив, что я шагнул в сторону, испугался.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал он, — ведь я только так, надо же уладить дело. И когда ты наконец станешь благоразумным!

XX

Я ставлю точку.

Впервые ставлю точку. Я где-то читал, что иногда необходимо бывает сосредоточиться и, подобно капитану, вооруженному секстантом, определить свое положение среди течений, ветров, идей и голосов сего мира.

Вернувшись из Парижа, я был встречен прекрасно разыгранным всеобщим равнодушием и бойкотом братьев… лишь на несколько дней, так по крайней мере считала мать, которой пришлось немало потрудиться, чтобы запугать их до такой степени. А может быть, и на всю жизнь. Ибо слишком далеко уплыл от них мой корабль. В моих глазах они просто юнги. Психимора оставила меня в относительном покое. Она поняла, что придется еще раз изменить тактику. Я — одержимый, и меня ничем не приведешь к повиновению, а уж тем более побоями. Взять меня можно только измором, подвергнуть карантину молчания. Мегера прекрасно знала, что при своем боевом характере я недолго выдержу оскорбительное перемирие и скоро сам полезу

под огонь ее батарей. Она приняла твердое решение: изгнать меня из семьи любыми средствами. Любыми, даже самыми вероломными средствами. Усыпим настороженность этого мерзавца обманчивой безопасностью, и тогда он выкинет какой-нибудь идиотский фортель.

Я ставлю точку. Иначе говоря, я утверждаю свою личность. Это первое испытание, не имеющее ничего общего с покаянием, ибо я вполне доволен собой таким, каков я есть, и хочу лишь одного — с каждым днем все больше становиться самим собой; это первое испытание произошло в полдень на большой перемене на верхушке тиса, который поистине стал для меня местом уединения, моей дозорной башней, куда братья не решались карабкаться, потому что можно было легко сломать себе шею (несомненно, поэтому Психимора никогда не запрещала мне лазить на мой тис). Я ставлю точку. Не знаю почему, но, взобравшись на вершину своего любимого дерева, я чувствовал себя совсем другим. Я поднимался выше голубых крыш нашего «Хвалебного»; выше меня проносился только западный ветер да подолгу летали вокруг своих гнезд потревоженные вяхири. И на этой высоте я отрешался от своей жизни. Множество неприятностей, множество

обидных мелочей, из-за которых мы страдаем гораздо больше, чем от глубокой раны, вдруг все исчезали, падали куда-то вниз, как коричневые, засохшие иголки, устилающие землю под елями. Что я здесь такое? И почему я здесь? Что за ветер, веющий в часы ненужных мечтаний, раскачивает меня в одном ритме и наравне с этой веткой, которая держит меня как чужеродный плод и скоро отбросит прочь? Отбросит в мое будущее, теперь уже близкое будущее, отбросит туда, где я смогу один-одинешенек пустить корни в почве, избранной мною самим, удобренной по моему выбору, укорениться в избранной мною самим духовной и плотской жизни. Мне предстоит выбрать, каким способом гнить, ибо зрелость уже несет в себе зачатки гниения, следовательно, жить — это… Я на пороге жизни и созревания, найду ли я его в ненависти или в любви. И как же хорошо сейчас меня овевает ветер! Какой бесконечной чистотой исполнено все мое существо!

Я ставлю точку. Сейчас я не тот, кем хотел бы быть, но буду тем, кем захочу стать. Ты родился в семье Резо, в том веке, когда родиться в семье Резо — значит дать сто очков вперед соперникам, состязающимся с тобой на ристалище жизни. Ты родился Резо, но ты им не останешься. Тебя

не остановят препятствия, которые ты угадываешь впереди, хотя и не знаешь еще, в чем они состоят. Ты родился Резо, но, к счастью, тебе не привили любви к этому роду. Ты нашел у своего семейного очага не мать, а чудовище, груди которого источали яд. Ты не знал материнской ласки, которая служит укрепляющей закваской в естестве счастливых детей. Всю жизнь ты будешь изрыгать воспоминания о своем детстве, будешь изрыгать их в лицо господу богу, который посмел совершить над тобой такой эксперимент. Созреешь ли ты в ненависти или в любви? Нет! Пусть будет ненависть! Ненависть более сильный, более мощный рычаг, нежели любовь. Конечно, ты постараешься забыть. Конечно, тебе хотелось бы испробовать всяких сладостей, приятно слащавых нежностей, которые тают на язычках юных сентиментальных кузин. Ты с жадностью набросишься на лакомства любви. Но ты их изрыгнешь. Изрыгнешь вместе со всем прочим.

Я ставлю точку. Я не отличаюсь скромностью. Это черта, унаследованная от Резо, навсегда сохранится во мне. Я сила природы. Я выбираю путь бунта. Я живу всем тем, что мешает им жить, этим господам Резо. Я отрицание их унылого согласия с общепринятыми взглядами, я их

противоположность, я презираю их пресловутое терпение, я охотник за совами, я заклинатель змей, я будущий подписчик «Юманите»!

— Дети, пора за уроки!

Я ваше бесчестье, я мститель, посланный нынешним веком в ваше семейное болото.

— Дети, пора!

Молчи, Психимора. Я нарочно опоздаю, и ты не посмеешь мне ничего сказать, потому что ты боишься меня, потому что я хочу, чтобы ты меня боялась. Я сильнее тебя. Ты идешь к упадку, а я расту. И вытянусь вверх, как пугало, которое в час заката отбрасывает огромную тень через все поле. Я справедливая кара за твое преступление, небывалое в истории матерей. Я олицетворенное возмездие и даю обещание, небывалое в истории сыновней любви, покарать тебя в твоей старости.

— Дети!

Заткнись, Психимора, я тебе не сын.

Крайне довольный этой первой своей бравадой (внутренней), я спускаюсь с ветки на ветку, оставляя на кончике острого сучка лоскут моей куртки, и не спеша направляюсь в классную комнату, где оба моих брата уже корпят над тетрадями.

Но Психимору я не видел, она не стала меня до-

жидаться. Отметим эту поблажку, эту учтивость палачихи. И вложим в ножны зря отточенный меч. Меня ждет нежный Шелли, честь и слава английского языка, на котором мы уже не говорим за столом, с тех пор как мадам Резо заметила, что мы знаем английский лучше, чем она.

XXI

Прошло два месяца. Моя вылазка не была забыта. Психимора не раз сдержанно намекала на нее. Тлеет огонь скрытой гражданской войны. Быть может, меня собираются отдать в коллеж. По словам Фреди, мегера даже предлагала засадить меня в исправительную колонию, но, так как дело происходило в пору летних каникул, план отпал сам собой. Возможно, к нему вернутся в конце сентября, если курс ценных бумаг поднимется, что, впрочем, маловероятно. Аббат Траке в отпуске. Мы одни под непосредственным командованием Психиморы. Я все еще ношу парижский костюмчик черного бархата, мать быстро смекнула, что короткие штанишки унизительны для моих пятнадцати лет.

Для отца настали счастливые дни: мириады мошек жужжат в заливных лугах над осокой и кардамоном. Однако сейчас для мсье Резо важнее всего не вопросы энтомологии: он хлопочет о предстоящем праздновании, которое должно отметить четверть века пребывания восьмидесятилетнего Рене Резо во Французской академии.

Хотя этот ученый старец является лишь блестящим представителем одной из боковых ветвей семейства Резо (о чем умеет напомнить наш отец, глава старшей ветви), усадьба «Хвалебное», служившая в течение двух веков столицей для всего клана Резо, естественно, должна стать рамкой столь лестной церемонии. Папа разрывается на части, интригует, пишет множество писем на почтовой бумаге с изображением нашего старинного замка, опровергает возражения тех, кто находит, что до Кранэ слишком трудно добираться, нанимает местные автобусы, нарушив на сорок восемь часов регулярные рейсы между Анже и Сегре, нанимает прислугу, составляет список приглашенных, вычеркивает кое-какие имена, добавляет новые… И проделывает все это, даже не спросив согласия главного заинтересованного лица.

Но согласие это наконец получено. Отец ликует, мчится в Сегре, заказывает срочно напечатать пригласительные билеты. Психимора не разделяет папиного ликования.

— А сколько будет стоить этот юбилей?

Глава старшей ветви резким жестом отмахивается от столь мелочных соображений: он только что продал несколько ценных бумаг в

Учетном банке. Столь огромная честь требует доблестных жертв. И тогда мадам Резо, смирившись, начинает приготовления к празднеству. Уроки, заданные на каникулы, могут подождать. Нам раздают скребки, мотыги, грабли. Садовые дорожки должны быть безупречно вычищены. Покраска забора будет стоить слишком дорого, ну и что же, можно обойтись без нее: слой известки придаст на время девственную белизну столбам, являющимся необходимой принадлежностью всякой порядочной изгороди. Железная щетка скоблит паркет в гостиной, и ветхие планки вот-вот расколются. Пусть хоть на один вечер все блестит. Глухонемая Фина и две Бертины в шесть рук выколачивают палками портьеры, гобелены и ковры, откуда белесым облаком вылетает моль (чешуйчатокрылые). Барбеливьен садовыми ножницами подстригает кусты в парке. У кюре Летандара берут на время горшки с геранью, украшавшие церковь в день Сердца господня. Жанни Симон печет пирог со сливами, любимый пирог академика, и приготовляет с дюжину головок сыра в плетенках. Мадлена из «Ивняков» (которая, право же, стала очень аппетитной) сообщила, что ее мать зарежет для праздника барашка. Аржье, владельцы фермы «Бертоньер»,

решили пожертвовать для хозяйского праздника домашнюю птицу.

— Вся плата натурой за целый год уйдет на это пиршество!.. — стонет Психимора.

И вот великий день наступает. Приглашены все родственники и свойственники семейства Резо, а также местные власти предержащие, как духовные, так и светские. Первым прибывает великий муж, герой празднества; он зябко кутается в шотландский плед, забившись в уголок своей дряхлой машины «дион-бутон». Мы выстроились в шеренгу на крыльце, чтобы встретить дорогого гостя. Он с трудом вылезает из автомобиля, так как воспаление предстательной железы мучительно дает себя знать. Старца поддерживают под руки его супруга Алиса I с пышными седыми локонами и его дочь Алиса II с пышными черными локонами. Академика усаживают, закутывают, вытаскивают его кресло, похожее на трон короля Дагобера, на самую середину гостиной, как раз под расписной плафон, изображающий наш фамильный герб (вы, конечно, помните: щит, перечеркнутый красными полосами, а посередине золотой лев), так как он центральный орнамент всей композиции.

К юбиляру присоединяются самые именитые

гости: его преосвященство, столь же зябкий, как виновник торжества, несмотря на летнее время, и столь же дряхлый, наш дядюшка протонотарий, специально прилетевший из Туниса на самолете. Прекрасно чувствуя себя среди духовных особ в муаровых сутанах всех оттенков лилового цвета, защитник веры созерцает тусклым взглядом свою бесчисленную родню, а она все прибывает и прибывает волна за волной, почтительно замирая у подножия его кресла. Среди гостей: барон и баронесса де Сель д'Озель, графиня Бартоломи (прикрывшая складки жирной шеи многоярусным ожерельем из настоящего жемчуга) и ее потомство с иссиня-черными корсиканскими волосами, супруги де Кервадек, которые передают поздравления от имени кардинала, граф Соледо, наш мэр и генеральный советник департамента, госпожа Торюр и ее дочери-бесприданницы, господин Ладур, которого нельзя было не пригласить, несмотря на происхождение его богатства (нажитого честно, но все же на торговле кроличьими шкурками), кюре Летандар и его ординарец, то есть его викарий; сыновья, дочери, внучки — словом, все отпрыски Резо всех ветвей генеалогического древа, красные от удовольствия, красные и бесчисленные, как ранетки

на яблоне в сентябре месяце. Они выстраиваются тесными рядами позади «трона» и высоко поднимают головы, позируя для потомства.

Засим в гостиную допускается мелкий люд: добрые поселяне из соседних деревень, смущенные крестьяне, смиренно сознающие свое ничтожество, Жанни, Симона, четверо Барбеливьенов, семейство Аржье, семейство Гюо, наша старушка Фина, у которой на правой стороне груди приколота на трехцветной ленточке медаль «За верную службу», монашки, обучающие детей в частной школе, и другие монашки — сестры милосердия в больнице, монастырские воспитанницы, препоясанные голубыми шарфами, более или менее заслуженными их добродетелью, члены фабричного комитета, делегация от стрелкового общества, от любительского духового оркестра из Сент-Авантюрена, пятьдесят безвестных фермеров и фермерш… У большинства в руках букеты, типичные деревенские букеты из плотно прижатых друг к другу цветов — настоящая мозаика, шедевр крестьянского терпения. Но многие держат за связанные лапки домашнюю птицу — кто курочку, кто утку, и эта живность хлопает крыльями, как будто аплодирует своей недалекой кончине. (Во имя точности должен добавить, что

иные принесли и кроликов — боюсь только, что это покажется смешным.) Все дары складываются в углу гостиной: они пойдут на пользу алтарей и благотворительных учреждений (но, конечно, Психимора втайне урвет себе часть, чтобы вознаградить наше семейство за подать натурой, которой оно лишилось).

С запозданием, как оно и подобает, появился маркиз Жофруа де Лендинье, консерватор, депутат парламента от департамента Мен-и-Луара, и прокладывает себе дорогу в густой толпе своих избирателей. Ждали только его. Вспышка магния. Один раз, другой, третий.

— Покорнейше благодарю вас, дамы-господа, — говорит фотограф.

Маркиз вытащил из кармана несколько листочков бумаги и вскинул вверх правую руку. Кругом зашикали: «тш, тш». Маркиз заговорил, вернее, запел хвалебную песнь.

Речь его длилась целый час. Я избавлю вас от передачи ее содержания. К сожалению, нас-то не избавили ни от нее, ни от торжественного слова мэра, ни от нудной проповеди епископа, ни от поздравлений школьников, ни от красноречия главы старшей ветви рода Резо. Три часа собравшиеся слушали все эти разглагольство-

вания, и наконец толпе простолюдинов было разрешено выйти во двор освежиться сидром и подкрепиться мясной «поджаркой»; столы, то есть сколоченные наспех доски, положенные на козлы, накрыли скатертями, вернее, двумя десятками полотняных простынь, что должно было внушить глубочайшее почтение к династии Резо. Именитые гости направились в столовую, которая, несмотря на ее площадь в шестьдесят квадратных метров, не могла вместить всех приглашенных. Остальным родичам пришлось пировать в холле, коридорах и классной комнате. Усадьба превратилась в огромную харчевню, где за столами прислуживали на сей случай деревенские девушки, оглашавшие стены господского дома неприлично звонким смехом и вопросительными возгласами: «Чего надоть?»

В шесть часов вечера начался разъезд. Однако большинство кузенов и кузин остались ночевать, намереваясь уехать в Париж с первым утренним поездом. Протонотарий решил погостить у нас две недели, а баронесса неделю. Парк еще полон беготни, веселых перекликающихся голосов. Настоящая ярмарка. Солнце спускается к колокольне Соледо, и кажется, ее шпиль вот-вот проткнет огненный диск. Облака постепенно

принимают оттенок пуговиц, нашитых на сутану протонотария. Мой отец, пьяный от гордости, в галстуке, съехавшем набок, бродит от одной кучки гостей к другой. А луговая мошкара вьется над лошадьми, перелетая с крупа на круп. Внезапно мсье Резо замечает меня, когда я, одинокий, угрюмый, направляюсь к своему любимому тису. Он подходит ко мне и, подхватив под руку, ведет за собой, пытаясь заразить меня своим восторгом.

— Понимаешь теперь, дружок, понимаешь, что такое семья? Такая, как семья Резо.

Разумеется, я это понимал и именно поэтому не испытывал горячей радости. В парке одна из безымянных кузин — кузина, у которой, несомненно, есть заботливая мама, а не наша Психимора, — нарядившаяся ради праздника в парчовое платье, быть может, Эдит Торюр или одна из юных девиц Бартоломи с черными как смоль косами… ну, словом, какая-то кузина поет тоненьким голоском старинный романс благовоспитанных барышень.

— Очаровательно! — говорит отец, поглаживая свой кадык, не уступающий в размерах его носу.

Да, да, это очаровательно, это достохвально, это пасторально. А ухлопать из тщеславия столько денег, когда у родных детей нет самого необ-

ходимого, — так ли уж это очаровательно? А обращаться в двадцатом веке с крестьянами как со своими крепостными — это тоже пасторально? А лицемерие, стремление скрыть наши раздоры, нашу черствость сердца и сухость ума, нашу фамильную моль и фамильную спесь — уж это ли не достохвально! В мире все бурлит, люди уже не читают «Круа», наплевать им на список запрещенных книг, они требуют справедливости, а не жалости, они требуют того, что им полагается по праву, и не желают принимать ваших подачек; этими людьми битком набиты поезда, бегущие из рабочих пригородов в промышленные центры, куда уходит население из ваших порабощенных деревень; этот народ не знает правильного написания исторических имен, он мыслит дурно, потому что мыслит не по-вашему, а все-таки он мыслит, он живет, и ему нужен простор, а не этот глухой угол, отделенный от всего мира изгородями из колючих кустов, он живет, а мы ничего не знаем о его жизни; ведь у нас даже нет радиоприемника, мы не можем послушать, что он говорит; он живет, а мы скоро умрем. Но моя ненависть угадывает, на чем зиждется наше существование, а главное, почему нам придется исчезнуть, угадывает, каким вызовом новым

временам является сегодняшнее празднество и как неуместен романс моей юной кузины, которой уже не наплодить в Кранэ новых буржуа, рожденных в идиллическом союзе капиталов. Моя ненависть никогда им не простит, что я принадлежу и всегда буду принадлежать к их семейству, моя ненависть знает, что праздник у нас последний, что недалек тот день, когда окончательно рухнет наша пошатнувшаяся слава. Моя ненависть знает, что я окажусь одним из самых ненавистных пособников этого краха, подготовленного падением предрассудков и курса ценных бумаг. И мне немножко больно, больно оттого, что против своей воли я ненавижу не всех Резо подряд. Поэтому я и отвечаю тихонько, хотя отец, конечно, никогда не поймет смысла моих слов:

— Да, это очаровательно. Настоящая лебединая песня!

XXII

Вслед за дорогостоящим празднеством наступила полоса жесточайшей экономии. К тому же Психимора становилась все более скаредной. По правилу, укоренившемуся в буржуазных семьях, отец выдавал матери установленную сумму, распределенную по различным статьям семейного бюджета: столько-то на гардероб ей, столько-то на наш гардероб, столько-то на стол. Психимора плутовала, урезывала все расходы. Она завела себе кубышку и вкладывала скопленные деньги в различные финансовые предприятия по своему усмотрению, играла понемножку на бирже, подавая пример своему господину и повелителю, который так «дурно» управлял своим состоянием. Действительно, надо признать, что, если бы папа не цеплялся за ценные бумаги, дающие твердый, но маленький доход, например облигации государственного займа, сумма приданого нашей матери — триста тысяч франков золотом — могла бы украситься еще одним нулем. А он умел только сохранить его первоначальные размеры. Плювиньеки в этом вопросе имели полное право

потешаться над мсье Резо и, конечно, не лишали себя этого удовольствия.

Итак, протонотарий встретил категорический отказ, когда предложил взять нас с собою в Тунис на каникулы. Отцу очень хотелось доставить нам такое развлечение, но, хотя дядя обещал, что мы у него будем жить на всем готовом, денег на оплату путевых издержек для нас троих не нашлось. (Впрочем, Психимора и слышать не хотела об этой поездке.) По тем же причинам нам пришлось отказаться от некоторых других приглашений — они обошлись бы слишком дорого. Генеалогические изыскания, связанные с поездками, были приостановлены. Отец не мог возобновить запаса ящиков и прочих принадлежностей для своих энтомологических коллекций.

Должен сказать, что мне не так уж хотелось расставаться с «Хвалебным». По крайней мере сейчас. Конечно, не потому, что мне жилось лучше, чем прежде, и что Психимора не так меня преследовала. Окрестности усадьбы становились для меня все более привлекательными. Несмотря на запреты, мы уходили на прогулках все дальше и дальше от дома. Наша мегера, замыслив черное дело, отпустила вожжи, рассчитывая сразу натянуть их в нужный момент. Теперь пришла

и моя очередь пользоваться отцовской бритвой. На выбитых дорогах, по которым семенили деревенские девушки с серпами через плечо, чтобы нарезать люцерны для кроликов, на выбитых этих дорогах оставались теперь следы и моих башмаков на деревянной подошве. Кропетт, которому шел четырнадцатый год, еще не ведал томления страсти и благоразумно разъезжал по аллеям парка на велосипеде, приобретенном ценою уже позабытого нами предательства. Но мы с Фреди, жадно раздувая ноздри, подстерегали девчонок из церковного хора, и тех, что пасли коров, и маленькую Бертину, а особенно Мадлен из «Ивняков». Помня о нашем положении хозяйских сыновей, она была с нами приветлива. Столь же смущенные, как и она, но совсем по иным причинам, мы носили ее корзины, собирали разбежавшихся овец. Она не обманывалась относительно причин нашего неожиданного внимания, и в глазах ее зажигался огонек насмешки, страха и тщеславия. Она была куда более сведущей, чем мы. Должен признаться, что только три месяца назад, наткнувшись случайно на собак, занятых любовной игрой, я задумался над этим вопросом и уточнил для себя кое-какие подробности, строжайшим образом скрываемые

от нас ради семейного целомудрия. Я не учился в коллеже, и у меня не было товарищей, обычно просвещающих, не всегда бескорыстно, младших школьников. Я не осмеливался расспрашивать моих братьев, столь же несведущих по этой части, как и я, ведь они тоже были жертвами воспитания, которое почитает «гнусным» всякую попытку поверять свои чувственные порывы откровенным и ясным языком; никто никогда не говорил о какой-нибудь нашей кузине «она беременна», а только намекал деликатно, что «она ждет ребенка». Те части тела, которые греки называли «священными», христиане стали именовать «срамными». Этим все сказано. Может быть, это вам покажется смешным, но я имел самое превратное представление о строении женщины.

Как говорится, «нет худа без добра»: мое простодушие спасло меня от порока, которому подростки предаются в одиночестве, и я не знал этой страшной беды, хотя нас никогда не предостерегали от нее.

Первое впечатление после моего посвящения (надо сказать, неполного) в тайны любви было определенно неприятным. Я не испытывал никакого отвращения мистического характера,

никакого страха перед грехом. Грех? Ну и вздор! Пустое слово, просто предлог для наказания, просто нарушение правил, установленных церковью, столь же произвольных, как и правила Психиморы. Нет, я находил, что природа могла бы, вернее, должна была бы наделить млекопитающих системой размножения, подобной той, какой она наделила цветы. Предпочтительно однодомные. У цветов все изящно и мило, все радует взгляд, и так красиво, так поэтично, что цветами, этими органами размножения, украшают гостиные и часовни. Конечно, я был доволен, что Психимора принадлежит к разряду неполноценных, постоянно недомогающих, приниженных живых существ, какими в животном мире являются самки, и в частности женщины. Но оставим это. Если уж господь бог не смог дать людям органов размножения, подобных тычинкам и пестикам, то хотя бы он распространил на все живое скромность птиц.

Позднее мое отношение к таким вопросам переменилось. Я оставался чистым… Оставался чистым очень долго. Из гордости. Мне хотелось, как бы это сказать, чего-то настоящего. Но утренние пробуждения, которые так изящно описал Виктор Гюго в своих стихах, высокая грудь Мад-

лен, быстро переступающие, вздымающиеся куда-то вверх под пестрыми воскресными юбками стройные ноги девчонок из церковного хора, нервный зуд в кончиках пальцев, которые, подобно щупальцам насекомых, стремились познать что-то новое осязанием, и какое-то особое ощущение, похожее на голод (да оно и впрямь было голодом), гнездящееся где-то в животе ощущение, которое еще нельзя назвать желанием, целая лавина чувств и прыщи на лице, порождаемые именно этими новыми чувствами, — все это в конце концов подорвало мою стойкость. Змеи вечернего томления, я слышу, как вы шипите. «Во имя чего я должен заставить вас умолкнуть? — думал я. — Нечего играть в прятки, от правды никуда не уйдешь. Правда есть правда. И сейчас мои колебания, мои робкие перифразы — это просто досадные последствия христианских воззрений, где инстинкт носит устрашающее название „соблазн“».

Фреди, хотя он был на полтора года старше меня (а это в нашем возрасте имеет большое значение) и мучился теми же муками, оказался не более опытным и не более смелым, чем я. Скорее уж наоборот. Его, по-видимому, угнетало бремя начавшейся возмужалости.

— Не хватало нам еще этого... До чего же все сложно! — ворчал он.

Довольно скоро я понял, что он без меня ни на какие вылазки не решится. Так как у меня вызывали зависть его рост и пробивавшиеся усики, я решил охотиться самостоятельно. Тайное сообщество мальчишек доживало последние дни. Нас ждали иные потехи. Но я вовсе не намеревался без конца тянуть канитель — ухаживать за девчонками, обмениваться нежными улыбочками, многозначительными фразами. Нужно было удушить еще одну гадюку, ту, что копошилась в моем теле.

Тем хуже для Мадлен! Разве Психимора, утоляя свой садизм, деликатничала с нами? Краснощекая Мадлен все больше раздается вширь, как большинство девушек в Кранэ, до времени раздобревших на густой похлебке и свином сале. Года через три она будет ходить переваливаясь, как откормленная гусыня. Но сейчас она еще аппетитная «гусочка», пользуясь местным выражением, достаточно нежная и привлекательная для моих целей. Девственница она или нет, мне наплевать. Мадлен всегда найдет себе мужа, потому что она девка сильная, работящая, ее крепкие руки ловко окучивают картофель и

проворно доят коров.

Но ведь нужно как-то к ней подойти, ее «обработать». А это не так уж легко. Крестьяне ложатся рано и не ходят в сумерки на гулянье. По будням Психимора строго следит за нами, и я могу вырваться из дому лишь для кратких встреч на выгоне. Остаются только воскресенья — по праздникам в деревнях не работают, за исключением времени жатвы, на что кюре ежегодно дает разрешение с церковной кафедры. Мадлен, возвращаясь после вечерни из церкви, где она поет на клиросе (и, разумеется, фальшиво), для сокращения пути обычно проходит через рощицу.

Раз я что-нибудь решил, я немедленно осуществляю свой замысел. Не люблю откладывать дело в долгий ящик. Однако же для любви (если можно назвать любовью эту случайную первую репетицию) требуются двое. Мадлен сопротивляется. Она то приводит меня в отчаяние, то в восторг, заполняя собой весь мой досуг. И теперь я взбираюсь на верхушку тиса главным образом для того, чтобы поразмыслить над результатами моего ухаживания за юной скотницей, у которой волосы и цветом и запахом напоминают свежее сено.

Я не слишком собой доволен. Право, мой ми-

лый, чего ты добился? Так ли уж чисты руки у этой скотницы? Так ли уж упорно они защищаются? Или ты боишься, что тебя настигнет Психимора, то есть другая женщина, которая по крайней мере трижды отдавалась мужчине? Да ну ее — черт с ней, с Психиморой! Пусть разбирает марки, заглядывая в «Справочник филателиста». Вот уже тридцать раз ты бегал на выгон — и все понапрасну. Близится осень — скоро зацветут бессмертники, кончатся каникулы, меньше будет свободы… Надо добиться своего до возвращения аббата № 7. Неужели тебе так уж неловко удовлетворить естественную потребность, раз ты ее таковой считаешь? А ты еще хотел остаться чистым, болван! Разве можно удержать мокроту, когда хочется сплюнуть? В целях общественной гигиены изобрели плевательницы, подобно тому как бог изобрел женщину. Чистота не требует воздержания, а только выхода для страстей.

Я себя подбадриваю, подхлестываю, ругаю. При первом же удобном случае я мчусь во весь опор на поляну с тремя вязами, где Мадлен по большей части пасет коров и вяжет шерстяные носки для своего брата Жоржа. Большой зонт, воткнутый в землю, защищает пастушку от солнца, а иногда от дождя, в зависимости от погоды. Волосы ее

заплетены в две толстые косы, переброшенные на грудь. Завидев меня, она быстро моргает; глаза у нее светло-карие, почти желтые.

Сегодня я более великодушен и назову их золотистыми. Я молча сажусь рядом с ней.

— Вы поосторожнее, мсье Жан. Тут неподалеку мой брат, в ночном. Он свеклу обрабатывает.

Надо же мне ее поцеловать. Я обнимаю ее, потихоньку просовываю руку ей под мышку все глубже и глубже. Когда мои пальцы касаются груди, Мадлен молча преграждает им путь, плотно прижав локоть к боку. Я остаюсь с носом. Неужели придется говорить ей любезности? Вот еще глупости! Не стоит метать бисер… Вдруг я набираюсь храбрости и, ухватив Мадлен за косу, грубо запрокидываю ей голову. «Ой!» — вскрикивает она, но я взасос целую ее в губы.

Ну вот и готово. Я доволен успехом, но с трудом сдерживаю желание вытереть себе рот. Мадлен говорит:

— Вы хотите дружить со мной, мсье Жан?

На местном наречии глагол «дружить» — скромный синоним слова «любить». Нет, у меня нет ни малейшего желания «дружить» с этой девкой. Потянувшись, я немного отодвигаюсь от Мадлен и наконец спрашиваю:

— Ты не сердишься на меня, Мадо?

— Маленько, — коротко отвечает она.

Но при этом девушка улыбается, а раз она улыбается, я снова принимаюсь за дело. На сей раз я бесцеремонно хватаю и мну ее левую грудь и нахожу, что она не очень упругая. Мадлен не отводит мою руку. Она и думать позабыла о своем брате Жорже, хотя ясно слышно, как он щелкает кнутом. Осторожности ради я выпускаю ее и несусь домой. Я торжествую. Фреди, которого я совсем забросил, бродит один. Заметив, что я вне себя, он спрашивает:

— Ну как?

Мне ужасно хочется ошеломить его, сказать, что я добился успеха. Но тщеславия во мне еще больше, чем вы думаете: я намерен похвастаться лишь реальной победой и в скором времени предложу Фреди, если ему угодно, убедиться в ней самолично, спрятавшись поблизости в кустах. Сегодня я лишь бросаю небрежно:

— Яблочко поспело, старик.

— Может, не яблочко, а дуля, — острит Фреди. — Яблочко хорошо лишь переспелое.

— Я знаю, что говорю.

Внезапно появляется Психимора. Она не могла расслышать нашего разговора, но заорала на

всякий случай:

— Опять шушукаетесь!

За последнее время я мало уделяю тебе внимания, мамочка. Извини меня. Забываю я о тебе не потому, что ненависть моя ослабла. А просто я очень занят. Но я не хочу вводить тебя в заблуждение. Надо мной властвует сейчас инстинкт, крепнущий с возрастом, и никакая нежность не может направить его к глубоким омутам настоящего чувства. Но это тоже нацелено против тебя. Не говори, что это не имеет к тебе никакого отношения. Ведь ты тоже женщина, и все женщины, в той или иной мере, должны за тебя расплачиваться. Я преувеличиваю? Послушайка... Мужчина, который оскверняет женщину, всегда немного оскверняет в ее лице и свою мать. Плевать можно по-разному.

И вот наконец настало долгожданное воскресенье, праздник господень. Наша мегера дает мне царственный отдых: Ибрагим-паша, явно вдохновленный Аллахом, только что прислал ей из Египта драгоценную серию марок. Она будет их разбирать и наклеивать в альбом. Я поставил Фреди у околицы в качестве свидетеля, а также и в качестве стража. В случае опасности он обя-

зан насвистывать Dies irae, dies ilia.[22] Сам же укрылся под серебристым кедром, где недавно разорил гнездо ястреба. Зазвонил колокол — значит, вечерня отошла. Скоро, вероятно, появится Медлен.

Мадлен приближается! В нарядном праздничном платьице она нравится мне меньше, чем в сером глухом переднике. Ее соломенная шляпка украшена бархатной лентой вишневого цвета, которая совсем не подходит к ее сиреневому платью, несомненно купленному в Сегре в магазине готовой одежды, где прививают вкус к слащаво-нежным тонам. Она, конечно, догадывается, что я поджидаю ее в кустах, и потому идет неторопливым шагом, очевидно желая подразнить поклонника, но не чересчур — ведь парни, а тем более образованные господа, любят, чтобы их подзадорили, но не раздражали.

— Стой, Мадо!

Она сразу останавливается, озирается вокруг и замечает меня под кедром, низко спадающие ветви которого образуют нечто вроде шалаша. Немного замявшись Мадлен подхватывает юбки и осторожно проскальзывает ко мне. Как обычно,

---

[22] Примечания: 22
«День гнева, тот день» (лат.) — покаянный псалом.

она молчит. Да и что она может сказать? Волос-то у нее долог, а ум короток.

Я все приготовил к свиданию: расчистил место, разровнял опавшую хвою. Мадлен остается только сесть и улыбнуться мне.

Прелюдия. То, что мне уже было дано, нельзя отнять без достаточных оснований. И вот я собираю оброк. Полчаса уходят на подготовительные действия. Слышится долгий свист. Я настораживаюсь, но это не мелодия покаянного псалма. Это свистит дядюшка Симон, собирая своих коров. Но все-таки медлить нельзя. В моем распоряжении не больше часа. От левой груди рука моя скользит вниз по бедру, забирается под платье, доходит до подвязки.

— Что это вы вздумали? Да еще в такой час!

Новая прелюдия. Ниже пояса. Протекает еще полчаса. Над нами голубь любезничает с голубкой на тех самых ветвях, где было гнездо ястреба. Счастье твое, голубь, что я прогнал хищника! Но та, что бьется слегка в моих когтях, клянусь тебе, она не вырвется.

Прелюдия кончилась.

XXIII

Мадлен не была девственницей, да она и не старалась меня в этом уверить. Однако я сообщил Фреди, что лишил ее невинности. Между нами говоря, я так долго медлил на пути к победе, что все эти три месяца моя жертва, вероятно, считала меня простофилей. Тем более я стремился уверить брата в мнимой ее добродетели.

Фреди ликовал. Этот малый просто создан для того, чтобы смаковать чужие победы. Я же, к своему удивлению, совсем не радовался. Конечно, это не было мне неприятно. Но когда Мадлен поднялась и, тщательно оправляя смятое платье, сказала: «Ну как, вы довольны, правда?» — мне, помнится, захотелось дать ей оплеуху. Уж лучше бы эта запыхавшаяся девка плакала. Я не привел своего намерения в исполнение, так как, за неимением лучшего, решил продолжать нашу связь. Но пусть она не позволяет себе лишнего. Не имею ни малейшего желания терпеть ее нежности: ведь на прощание она прижалась ко мне своей пухлой грудью и умильно пробормотала:

— Видать, я шибко с тобой подружусь!

Нет уж, увольте, этого я не желаю переносить от нее. И ни от какой другой. По какому праву она говорит со мной на «ты»? Между нами ничего не изменилось, мы не стали ближе, не желаю никакой фамильярности, не желаю терпеть смехотворных нелепостей. Мы сошлись, вот и все. Захочется — еще сойдемся. И точка. А когда найду нужным, совсем разойдемся.

Не будем слишком требовательны. Я завоевал первое место в семейном сопротивлении, первым бежал из дома и первым познал женщину, я могу теперь весело взбираться на верхушку тиса и свысока смотреть на остальных обитателей «Хвалебного». В каком возрасте мсье Резо впервые переспал с женщиной? Насколько я его знаю, он вполне был способен обойтись без женщин вплоть до самой женитьбы. О моих братцах и говорить нечего, они утешаются в одиночестве… Зато я с гордостью могу сказать, что я не из таких, у меня есть своя девчонка. Эта мысль горячит мое воображение. Фреди изо всех сил хлопает меня по спине:

— Ах ты чертов Хватай-Глотай!

Психимору не проведешь. Всей правды она, конечно, не может угадать, но своими щупальцами распознала главное. Перед ней стоит не мальчик,

которого когда-то тешила перестрелка взглядов, на нее тяжело, в упор, смотрит с презрительной усмешкой юноша. Пора, давно пора избавиться от этого взрослого парня, который осмеливается при ней кричать старшему брату:

— Бросай скребок, пойдем прошвырнемся!

Жаловаться тому ничтожному мухолову, который сидит у себя на чердаке, пропахшем карболкой, и обмахивает пыль с ящиков, — бессмысленно! Употребить силу! Но Хватай-Глотай охотно демонстрирует свои мускулы, чего доброго, может пустить их при случае в ход. Нет уж, что угодно, но только не изведать еще раз жгучую обиду от неудавшейся осады и прощенного бегства. Надо усыпить его подозрительность. Пусть осмелеет настолько, что совершит серьезный проступок, за который его можно будет запереть в исправительную колонию. И когда этот нарушитель спокойствия будет устранен, уже нетрудно будет обуздать всех остальных и вновь полновластно царить в «Хвалебном» на манер пчелиной матки в улье.

Но если моя мать наделена сверхчувствительными щупальцами, такими же обладаю и я. Впрочем, есть ли у меня хоть какое-нибудь похвальное качество, а главное, недостатки,

которые я не унаследовал бы от нее? У нас с ней полное сходство, кроме пола, ибо по оплошности небо сотворило ее женщиной, хотя она дерзко узурпирует мужские качества. Во мне повторяются все ее чувства, ее черты характера, даже черты лица. У меня такие же, как у нее, большие уши, сухие рассыпающиеся волосы, тяжелый подбородок, презрение к слабым, недоверие к доброте, отвращение к слащавости, дух противоречия, воинственный нрав, любовь к мясу, фруктам и к язвительным фразам, упорство, скупость, культ своей силы и сила своего культа… Привет тебе, Психимора! Поистине я твой сын, хотя и не твое дитя.

Вот почему, Психимора, пока мы живем вместе, я очень быстро буду разгадывать любое твое намерение. Ведь то, что ты думаешь, думал бы и я на твоем месте. То, что ты пытаешься сделать, пытался бы сделать и я, если бы мне пришлось, как тебе, отчаянно бороться против молодости, ибо она покидает тебя и растет во мне.

Вот почему я подозреваю, что ты готовишь мне новый удар. Я держусь начеку, опасаясь и твоего молчания, в которое ты замкнулась, и твоей неожиданной снисходительности. Осторожности ради я уже не бегаю теперь каждый день на

выгон. Да и к чему болтать всякий вздор, сидя рядом с Мадлен под большим зонтом, — ведь мне достаточно каждое воскресенье встречаться с ней под кедром, куда Мадлен приходит за еженедельной долей любовных утех на лоне природы. Я слежу за тобой. Слежу, как ты надзираешь за мной. Мы наблюдаем друг за другом исподтишка. Мсье Резо, не обладающий тонким чутьем, радуется наступившему в доме затишью. Однако за всю пору моей юности это был период самого сильного нервного напряжения. Братья, более проницательные, чем отец, ждут развязки трагедии. И готовятся к ней — каждый сообразно своему темпераменту. Марсель, соблюдая нейтралитет, держится в стороне и выходит из своей комнаты лишь для одиноких прогулок на велосипеде. Фреди, по-собачьи преданный мне, тявкает издали, следит за Психиморой, собирает для меня сведения, как собака Мадлен собирает для нее разбежавшихся телят.

— Смотри, будь поосторожнее! Как только ты выходишь из дому, Психимора сразу шмыг к тебе в комнату. Не знаю, что она там делает, но на этой неделе она уже шесть раз к тебе лазила.

Даже Фина, глухонемая старуха Фина, подтверждает это сообщение: сначала вертит на пальце

воображаемое обручальное кольцо (хозяйка), быстро проводит пальцем под подбородком (часто), рисует в воздухе квадрат (комната), тычет мне в грудь указательным пальцем (твоя). Она не смеет вытянуть губы трубочкой, что означало бы: «Будь начеку!» Но ведь и на «финском языке» кое-что говорится намеками.

Я буду начеку. Психимора, несомненно, разыскивает мой тайник. Вернее, тайники. Первый — за перегородкой. Второй — под кафельной плиткой пола. Первый она, вероятно, уже нашла. Это в точности такой же тайник, как в спальне Фреди. Второй, пожалуй, еще не обнаружила. Впрочем, это не имеет никакого значения: в обоих тайниках пусто. Я положил все свои сокровища в старую резиновую грелку, а эту грелку спрятал в сорочьем гнезде на вершине дуба св. Иосифа. Психиморе это, конечно, неизвестно, и она постоянно шарит в моей комнате, надеясь найти заветный клад.

Из озорства я положил в тайник № 1, в тот, что за перегородкой, клочок бумаги, на котором написал: «*Упразднено*». Такую же записку сунул и под плитку пола. Наконец, чтобы доставить себе удовольствие понаблюдать за тщетными поисками мамочки, я просверлил в стене нашей

ризницы, смежной с моей спальней, дырку между двумя кирпичами, так же как я это сделал в комнате Фреди…

И мне действительно удалось насладиться зрелищем бессильной злобы Психиморы. Она, несомненно, слышала, как я опрометью сбежал по лестнице в правом конце коридора и заорал во все горло:

— Пойду в «Бертоньер» за маслом для папы.

Но она не знает, что я, крадучись, поднялся по лестнице с левой стороны и спрятался в стенной шкаф, где хранилось церковное облачение, — оттуда можно было смотреть в просверленный мною «глазок». Она считала, что может спокойно произвести привычный обыск. Я слышал стук ее каблуков — она даже не сочла нужным из осторожности надеть ночные туфли.

Вот она уже в моей комнате. В тот день она (забавная подробность) вымыла свои жиденькие волосы и повязала голову полотенцем в виде тюрбана. Не колеблясь ни минуты, она идет прямо к первому тайнику, отодвигает планку, которая прикрывает отверстие, направляет в мою кладовую луч электрического фонарика, читает. Раздается злобное рычание! Я вижу, как она отскакивает, топает ногами и рвет бумажку

на клочки. Но она быстро берет себя в руки. Подбирает клочки разорванной записки и прячет в карман халата. Не стоит искать второй тайник: я, несомненно, принял меры предосторожности. Присев на моей постели, она погружается в размышления. Недобрая улыбка змеится в уголках ее губ, ширится, подобно ледяной декабрьской заре, и разливается по всему лицу. Внимание!.. Мадам Резо, как видно, придумала ответную каверзу и уверена, что последнее слово в споре останется за ней. Посмотрим!

Психимора выходит из моей комнаты и бежит в свою спальню. Бежит! Вот в чем ее ошибка. Не нужно было бежать. Раз побежала, значит, спешит, значит, сейчас вернется. А если вернется, следовательно, ей чего-то недоставало, иначе она осталась бы на месте. Но что она сейчас принесет и какую опасность эта принесенная ею вещь представляет для меня? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы угадать. Подлость настолько проста, что можно только диву даваться, как это я раньше не оказался ее жертвой. Украсть у самой себя что-нибудь поценнее, сунуть украденное в мой тайник и тотчас же пожаловаться отцу, потребовать, чтобы в его присутствии произвели у меня тщательный обыск, «обнаружить» при нем

мнимопохищенное — таков был ее план, готов в том поклясться!

Надо отвести удар. Отвести немедленно. Сорвать ее замысел. Сначала узнать, что она хотела мне подсунуть. Коридоры у нас длинные, и я успел добежать до своей комнаты раньше, чем Психимора вышла из своей. Я успел сесть за стол спиной к двери, но прислонил к чернильнице карманное зеркальце, чтобы видеть, что происходит позади меня. Стук каблуков: Психимора возвращается. Дверь отворилась. Я слышу приглушенный возглас, затем невинный вопрос:

— Как! Ты уже вернулся?

— А я не ходил в «Бертоньер», вместо меня пошел Фреди.

Оборачиваться нельзя. Только бы не вызвать у Психиморы подозрений.

— Напрасно ты сидишь в комнате в такую погоду.

С этими словами гадина тихонько затворяет дверь. Она лишь отсрочила удар. Мне надо было быть осмотрительным. Ведь я успел разглядеть, что она прячет за спину: бумажник. Да, да, бумажник, ее собственный бумажник, в краже которого она решила меня обвинить. За такое преступление меня, конечно, на законном основании

можно отправить в исправительную колонию.

Я ломаю себе голову, как отвратить эту угрозу, этот дамоклов меч, нависший над моей головой на тоненьком, гадком волоске Психиморы. Не могу же я безвылазно торчать в своей комнате. Предупредить папу? Но он потребует доказательств, и, если я их не представлю, он возмутится — подумать только, какое испорченное воображение у его сына! Изложить событие в письме и отправить на его имя до востребования? Но кто хочет доказать слишком много, ничего не докажет. Психимора заявит, что я все предусмотрел — даже возможность провала. Поймать ее с поличным? Это проще всего, хотя такой прием сильно отдает детективным романом. Конечно, будет сравнительно легко уличить мою мать теперь, когда я знаю, что она затевает, но нельзя забывать и другое — отец не потерпит, чтобы кто-нибудь из сыновей публично уличил его жену. Если я взберусь на верхушку тиса, чтобы все хорошенько обдумать, разве Психимора не воспользуется моим отсутствием? Она живо выполнит свой замысел, успеет обернуться в две минуты.

Да это и нелепо, я могу прекрасно все обдумать здесь, в своей комнате, на этом месте, к которому

меня пригвоздила подозрительность. Конечно, могу: в моей мансарде мысли будут такими же ясными, как и на ветке тиса, которую на десятиметровой высоте колышет извечный западный ветер. Но я этого не хочу. Я не принимаю решений, когда что-нибудь давит на меня. А на меня давит островерхая крыша мансарды, стесняя мою свободу, как кавычки, в которые заключают какое-нибудь слово. И вдруг я понял, что представляет для меня тис, мой фетиш, символ моей независимости, стройное, прямое, как стрела, дерево, вскормленное нашей кранской глиной, но устремленное к небу, где вольно плывут облака, пришедшие из дальней дали и уходящие вдаль. Тис, я сделаю то, что ты порываешься, но не можешь сделать, ибо ты врос корнями в эту почву. Я уйду отсюда. Я должен уйти. И уйду очень скоро.

Что это? Еще одна дерзкая выходка? Нет. Психимора сама хочет от меня избавиться. Весьма неприятно доставить ей это удовольствие, однако придется вступить с ней в переговоры. В конце концов, вести с ней переговоры на равной ноге — разве это не победа? Видя, что наши желания совпадают, она не так уж обрадуется разлуке со мной. Нам нужно пойти на компромисс. Пусть я не смогу сказать: «Я заставил ее открыть передо

мною дверь». Но и она не сможет сказать: «Я его выгнала». И если мне придется вовлечь и своих братьев в этот матч, где невозможно добиться нокаута, я все же одержу победу.

Никакой театральности. Никакой блестящей мизансцены. Никаких помощников. Мне лишь надо потолковать с Психиморой наедине, недолго, всего минут пять. Она не из тех, кто пытается увернуться от объяснений. Мы поговорим начистоту. Объяснимся раз и навсегда.

Слышишь, Психимора! Небо на моей стороне. Слышишь ты гул мотора? Мсье Резо ничего не узнает, он только что уехал в Сегре. Своевременный отъезд. Я с шумом отворяю и захлопываю дверь. С грохотом сбегаю по лестнице. Можешь действовать, дорогая мамаша! Бери бумажник и беги в мою комнату. А я преспокойно взберусь на верхушку тиса.

XXIV

В двух километрах от усадьбы на шпиле колокольни в Соледо жарится на солнце жестяной петух. Четверть пятого. Можешь слезть с дерева, дружище.

Поднимаясь по лестнице, я сталкиваюсь с мадам Резо. Она широко улыбается, показывая все свои зубы, в том числе и два золотых. Я прижимаюсь к перилам, чтобы пропустить ее, — любезность столь непривычная, что улыбка мгновенно исчезает.

Вот я в своей комнате, достаю бумажник, который в мое отсутствие, как и следовало ожидать, был спрятан под плинтусом. Шесть тысяч семьсот франков! Психимора не поскупилась! Раз уж она при всей своей скаредности не побоялась рискнуть такой суммой, значит, игра идет всерьез. Я кладу сафьяновый бумажник в карман и, не спеша, так как в моем распоряжении еще целый час, направляюсь в переднюю, где мадам Резо недоверчивым оком проверяет выстиранное Бертиной белье. Мимоходом я успеваю заглянуть к братьям — в обеих комнатах пусто. Значит, мы

с матерью можем поговорить спокойно.

— Мамочка, вы можете уделить мне минутку?

Психимора, которую только Кропетт иногда называет мамочкой, приподнимает голову и говорит:

— Ты же видишь, что я занята, дружочек.

Обмен любезностями. Теперь мой ход. Я приближаюсь, слегка покачивая плечами.

— Жаль беспокоить вас, но нам необходимо кое-что выяснить.

К черту все эти тряпки! Психимора дает отпор. Когда дело идет о серьезных вещах, она не кричит, а шипит:

— Не раздражай меня, милейший! В этом доме никто не имеет права командовать мной.

Я подхожу ближе, крепко стиснув зубы. Потом разжимаю их и говорю:

— Мама, сейчас вы заходили ко мне в мое отсутствие и… позабыли у меня бумажник. Считаю нужным немедленно возвратить его вам. Считаю нужным сказать, что я этого ждал от вас. Когда вы в первый раз вошли в мою комнату, я следил за вами через отверстие, которое нарочно просверлил в стенке ризницы. А когда вы пришли во второй раз, я увидел у вас в руках бумажник, но при мне вы не могли его положить. Я со-зна-тель-

но позволил вам орудовать и нарочно пошел прогуляться. Весьма сожалею, но ваша махинация не удалась.

Психимора не отвечает. Она словно превратилась в соляной столп, и не волне моего красноречия смягчить ее. Я добавляю:

— Все останется между нами, если только мы придем к соглашению относительно тех последствий, которые эта история должна повлечь за собой. А пока что возьмите бумажник. Все ваши деньги — шесть тысяч семьсот франков — целы.

Психимора протягивает руку и, получив обратно свои капиталы, все так же безмолвно пересчитывает кредитки.

Я бросаю вскользь:

— Сколько зла накопилось у вас против меня!

В том же духе, но в обратном смысле влюбленный говорит своей милой: «Сколько в тебе очарования!» Эти избитые слова вызывают у Психиморы улыбку, и она решается наконец прервать свое молчание:

— Вот как! Мало того, что ты обокрал меня, ты еще осмеливаешься обвинять родную мать в грязной махинации. Ну подожди!.. Посмотрим, что скажет отец.

Слава богу, она выбрала нелепую, явно слабую

позицию. Конечно, не так-то легко придумать что-нибудь поумнее. Но на ее месте я бы нагло защищал свой поступок. Да что там! Она недалекая женщина и ищет уловку.

Я разражаюсь смехом:

— Правильно, мама! Я вас обворовал, а через пять минут вернул украденное. То-то папа посмеется! Тем более что Фреди и Марсель с удовольствием подсматривали по очереди в «глазок», когда вы вторглись с бумажником в мои владения. Надо думать, они не откажутся внести поправки в вашу версию…

Я беру ее на пушку. Мне не нужны ложные показания братьев, к тому же я уверен, что Психимора из гордости не унизится до того, чтобы выпытывать у братьев, что им известно из этой истории. Но раз теперь и они замешаны в этом деле, то Психимора постарается избавиться от нежелательных свидетелей. Я выиграл по всем пунктам. Желая показать, что мне нечего бояться, я направляюсь к выходу. Но едва я вышел за дверь, как Психимора окликнула меня:

— Хватай-Глотай!

Это вовсе не мое имя, а лишь прозвище. Я делаю еще несколько шагов по коридору.

— Жан, ты что же, не слышишь? Иди сюда.

Я возвращаюсь с презрительной улыбкой. Однако не стоит слишком нажимать. Ведь враг собирается вступить в переговоры.

— Присядь, Жан.

Я сажусь. Отвернувшись от меня, Психимора снова принимается перебирать выстиранные тряпки. Как и полагается, я откашлялся, чтобы прочистить горло, а потом спросил:

— Вы хотели что-то предложить мне, мама?

Мадам Резо не отрицает.

— Да… пожалуй. Я, право, ничего не понимаю в этой истории. Не знаю, как тебе удалось обмануть своих братьев, впрочем, они такие же шалопаи, как и ты. Я теперь понимаю твои фокусы. Ты хотел поставить меня в затруднительное положение. Но с какой целью? Чего ты хочешь?

— Расстаться с вами, мама.

— Ах, вот как?

Психимора могла бы тотчас ответить: «Согласна!» Но мы не ждем искренности, не стремимся все выложить начистоту. Зачем нам объяснения? Мы ведем игру: кто сильнее, кто хитрее. Теперь уж дело не в том, чтобы утвердить решение, принятое каждым из нас, — решение, впервые в жизни оказавшееся у нас обоих одинаковым. Важнее всего другое: кому из нас достанутся во-

енные почести? Мадам Резо намерена навязать мне то, что я фактически требую от нее.

— Милый мой, таково и мое желание. Мне надоели ваши бунты, особенно твои. Иезуиты сумеют внушить вам уважение к священному принципу власти.

Я жду последней, самой неприятной статьи договора, которую труднее всего сформулировать. Желая умалить ее значение, Психимора делает вид, что ее очень беспокоят четыре пятнышка ржавчины на полотенце, похожие на неотстиранные кровавые пятна. (Нет, кровь, которая едва не пролилась, так и не прольется.) Наконец Психимора ухитряется составить и произнести фразу, которая, по сути дела, звучит как просьба:

— Взвесив все, я полагаю, что совершенно излишне докладывать отцу, какую комедию ты разыграл со мной. Я на это рассчитываю, не так ли?

Я не предоставляю ей права объявить заседание закрытым. По собственному почину я поднимаюсь со стула и отвечаю уже в дверях:

— Хорошо. А я рассчитываю на то, что вы, мама, убедите отца в необходимости для нас поехать учиться.

— О! Убедить отца!.. — раздается заключитель-

ный возглас мадам Резо.

Итак, все улажено. Пять минут спустя я уже на выгоне. Отныне все предосторожности излишни. Через неделю я уеду из «Хвалебного». Воспользуемся оставшимся временем. У бессмертников, растущих возле коровьего навоза, у бледно-лиловых осенних бессмертников лепестки приоткрываются, словно веки глаз, утомленных наслаждением. На глазах у этих распутниц растительного мира и на глазах у лохматой собаки из «Ивняков», принадлежащей к породе существ, не ведающих стыда, я в открытом поле предаюсь любовным утехам. Затем, без всякой подготовки, объявляю Мадлен, что уезжаю учиться. Эту сцену расставания никак не назовешь душераздирающей.

— Ну, стало быть, конец. Так всегда и бывает, — просто сказала Мадлен.

Из приличия она вытерла кончиком фартука уголки глаз, где, однако, не заблестела ни одна слезинка — по крайней мере видимая взору. Но так как кончик ее фартука, вероятно, попал в грязную лужу, он оставил у нее на щеке коричневую полосу. У меня хватило жестокости расхохотаться. Только тогда юная скотница заплакала по-настоящему, а я повернулся и спортивным

шагом направился домой — раз-два, раз-два.

XXV

Психимора похожа на меня. С точки зрения биологической истины, было бы вернее указать на наше взаимное сходство, но мое утверждение имеет то достоинство, что оно не подчеркивает мою наследственную зависимость от этой особы. Словом, Психимора походит на меня и так же, как я, не любит ждать. В данном случае ее нетерпение было вполне законно. Эту спешку нельзя поставить ей в вину. В нашем проклятом доме возможны всякие неожиданности, задний ход мы даем чаще, чем паровозы. К тому же через неделю должен вернуться аббат № 7, и уж лучше избавить его от напрасного путешествия, тем более что пришлось бы ему возместить дорожные расходы. В школах занятия начнутся первого октября, а еще ни один директор не предупрежден о предстоящей ему чести познакомиться с нами.

Мы, конечно, не присутствовали при обсуждении родителями столь трудного вопроса. Как бы ни отмалчивался, сколько бы ни упорствовал отец, в конечном итоге их разговора можно было не сомневаться. И действительно, через три дня

после случая с бумажником отец неожиданно — и как всегда, за обедом, — лишь только прочли молитву, объявил, поглаживая усы:

— Дети, придется отдать вас в коллеж. Мы с матерью считаем, что даже самый добросовестный наставник не сможет преподать вам необходимые познания. Всеведущих людей на свете не бывает, а школьные программы с каждым годом усложняются.

Ага! Вот какой довод выдвинула Психимора. Мсье Резо бесстрастно развивал перед нами это внезапно возникшее соображение:

— К этой мере мне следовало бы прибегнуть еще в прошлом году, однако пришлось ее отложить по известным вам причинам финансового характера. Но дальше медлить нельзя: Фердинану пора поступить в старший класс, а Жан и Марсель пойдут в предпоследний. Все это будет стоить нам больших жертв. Фермы мы должны будем перевести на испольщину. Мама разрешила мне взять из ее приданого сумму, необходимую для выкупа у фермеров скота. Но этого еще мало. Чтобы увеличить наши доходы, я вынужден прервать свои столь дорогие мне научные исследования и выставить кандидатуру на пост городского судьи в Анже, или же в Лавале, или же в Сегре — словом,

где-нибудь неподалеку от «Хвалебного».

Дальнейших разъяснений не последовало. Отец развернул сложенную вчетверо салфетку, как обычно лежавшую у него на тарелке. (Уголком ставят салфетки только в ресторанах; вкладывают их в серебряные кольца или в кольца из слоновой кости — только в домах новоиспеченных богачей; а вышитые кармашки с инициалами сотрапезников — это уже чистое мещанство.) Ничего не подозревавший Кропетт захлопал глазами, снял очки в железной оправе, протер стекла, снова надел и посмотрел на Психимору, как бы ища у нее подтверждения столь важной новости. Но мадам Резо и бровью не повела она продолжала усердно обгладывать заднюю лапку жареного зайца. В последнюю охоту отец убил матерого представителя заячьего племени, обитающего в наших краях, и, должно быть, стрелял в него в упор: заяц весь был нафарширован мелкой дробью. Преисполненный восторга, который я не имел права ничем выразить, я и не заметил, как проглотил несколько дробинок, расправляясь со своей порцией жаркого (как и полагалось, самой плохой — от шеи), Фреди похрустел суставами пальцев, потом высморкался, скривив кончик носа в излюбленном

направлении, и наконец, позабыв приличия, стал подбирать соус с тарелки хлебным мякишем без помощи вилки. Мать жадно воспользовалась этим промахом, желая поддержать свой агонизирующий авторитет:

— Рохля! Разве ты не умеешь, как все люди, пользоваться вилкой?

Но собственной своей вилкой она уже не решалась ткнуть в ладонь виновника. Рука ее дернулась было и сразу остановилась, скованная взглядом четырех пар глаз, боязливых, испытующих, внимательных, властных — в зависимости от того, в чьих орбитах они находились. Украшенный гербом черенок вилки завертелся в деснице Психиморы, словно скипетр, которому грозит близкое отречение от власти, завертелся, нерешительно закачался и вдруг бесславно упал на тарелку, прямо в соус.

В следующие дни на нас обрушились новые, более или менее удавшиеся гонения. Но какими они казались нам теперь ничтожными! Тебе, Психимора, удалось лишь доказать нам свою досаду и злобное бессилие! Зачем, например, ты настаивала, чтобы папа отдал нас в разные коллежи? Мсье Резо не мог согласиться на твое настойчивое требование, ибо надеялся получить

скидку от отцов иезуитов, если он поместит в их коллеж Сент-Круа-дю-Ман троих сыновей. К тому же я показал свои зубы, и они испугали беднягу отца не меньше, чем твои, Психимора. Мне вовсе не улыбалось оказаться жертвой твоей последней махинации. Это могло испортить мне каникулы — конечно, если меня возьмут на каникулы домой. Да, повторяю, если нас возьмут на каникулы, ведь у меня есть все основания полагать, что мы теперь завершим свое образование вдалеке от «Хвалебного» и (так же, как ты в свое время, Психимора!) до конца учения будем безвыездно жить в стенах пансиона.

А зачем ты так старалась обрядить нас в дорогу по-нищенски? Фина с утра до ночи сидит за иглой, выкраивая нам кальсоны из более или менее крепких полотнищ твоих прохудившихся простынь. Новых носков для нас не купили пускай в пансионе товарищи, отпрыски самого цвета местной знати, будут смеяться над пестрыми пятками наших штопаных и перештопанных носков. По-прежнему мы будем стучать деревянными подошвами башмаков и натягивать на голову береты. К счастью, в иезуитских коллежах введена прекрасная темно-синяя форма с плоскими медными пуговицами, и мы запросто

будем носить ее каждый день. На голове же у нас всегда будет красоваться фуражка с бархатным околышем — пресловутый головной убор, который служит почти что международной эмблемой аристократических учебных заведений.

Но вы, мамаша, конечно, придерживаетесь иного мнения. Ничтожных мелочей на свете не существует — нельзя пренебрегать даже пустяком, если он вам на руку. Бесчисленные житейские мелочи могут оказаться столь же смертоносными, как легионы микробов. Вы желаете, мадам Резо, чтобы я оптом или по частям возместил вам те жертвы, на которые вы пошли, согласившись урезать ваш с отцом капитал: во-первых, не бог весть какое богатство, состоящее в ценных бумагах, а во-вторых, некогда весьма значительный капитал вашего авторитета — обоим этим сокровищам угрожает одинаковая судьба позолоченной нищеты.

Я вовсе не намерен возмещать вам убытки, мамочка, но вы улыбаетесь… Вы надеетесь раздавить меня — через пять, через десять, через двадцать лет!.. Вы уверены в себе. Так зачем же говорить о поражении? Вы просто потерпели неудачу. Ну что ж, через неудачи — к победе. В довершение всего про эту вашу победу я готов ска-

зать, что она не принадлежит нашему времени и даже не от мира сего. Вы выдали долгосрочный, весьма долгосрочный вексель на будущее. Только такой смысл и могут иметь ваши собственные слова. Помните, какую фразу вы сказали мне, когда рылись в моем чемодане, заподозрив, что я украл у вас какие-то вещи и увожу с собой:

— Напрасно ты смотришь победителем, дружочек! Запомни мои слова: я, твоя родная мать, предсказываю тебе печальное будущее, которым вряд ли ты будешь гордиться.

Ты захлопнула крышку, заперла замок двойным поворотом ключа, но ты не заметила, Психимора, что между кожаной обивкой и картонной прокладкой я засунул четыре кредитки по сто франков, причем две из них утащил из твоей сумочки. Ты не поймала меня с поличным, но так как в иные минуты ты обладаешь даром второго зрения — даром предчувствия, которым бывают наделены лишь ангелы и дьяволы, — ты верно предсказала мое будущее. Ты выковала оружие, которое нанесет тебе много ран, но в конце концов обратится против меня самого. Немало ты уже помучилась, чтобы причинить нам как можно больше мучений, тебе наплевать на то, что я уготовил тебе горькие муки, лишь бы

созрело то, что я сам себе уготовлю. Мой склад характера побуждает меня поднять черное знамя бунта, ведь это ты, Психимора, соткала все его складки, ты дважды, трижды окрасила его самой черной защитной жидкостью спрута. Я едва вступаю в жизнь, а уже благодаря тебе не верю ни в кого и ни во что. «Тот, кто не верит в Отца моего, не войдет в царствие небесное». Тот, кто не верит в мать свою, не войдет в царство земное. Любая вера кажется мне обманом, всякая власть — сущим бедствием, всякая нежность — расчетливостью. Самую чистосердечную дружбу, самые добрые чувства, самую глубокую нежность, которые встретятся мне в будущем, я заподозрю в неискренности, оттолкну, отвергну. Человек должен жить один. Любить — это значит отречься от себя. Ненавидеть — значит утвердить самого себя. Я существую, я живу, я нападаю, я разрушаю. Я мыслю — значит я противоречу. Всякая другая жизнь угрожает моей, ибо она поглощает часть кислорода, необходимого мне. Я действую лишь заодно с самим собой. Не имеет смысла даровать жизнь, если не даровать потом смерти — бог это прекрасно понял, ибо создал нас всех смертными. Без моего согласия мне дана была жизнь, и кончится она без моего согласия. Меня

произвели на свет, а когда-нибудь отнимут мою жизнь. Мне предоставлен только промежуток между двумя этими пределами, который носит пышное наименование «судьба». Но самую-то эту судьбу подготовляют Психиморы, приводят нас к ней мошенническим способом: это мошенничество называется воспитанием. Я должен сказать «нет» всему этому их воспитанию, всему, что меня толкало вступить на путь, избранный не мною самим, а другими, — путь, который я ненавижу, ибо ненавижу своих поводырей. Я — это благо. Вы — это зло. Моральные принципы — это предрассудки большого калибра, вот и все. Будьте лицемерны, и вы достигнете успеха, займете почетное положение в обществе. Порывы сердца лишь жалкий рефлекс. Доблесть, подлинную, великую доблесть нельзя назвать силой, нельзя назвать гордостью. Нет слова, которое могло бы точно ее определить: она и то и другое, сочетание гордости, силы, стремления к одиночеству, которое влечет ее на вершину башни из слоновой кости (то есть на вершину моего тиса), и жажды помериться с кем-нибудь силами, укрепить свои мышцы. Могущество своего я. Подлинное могущество одинокого существа как противоположность могуществу двух (любовь)

и могуществу троичности (бог, познаваемый в трех измерениях, или в трех ипостасях). Могущество, не нуждающееся во множественности, дабы стать чем-либо! Повторяю: могущество своего я. Подобно архангелу, попирать пятою змия.

Всех змей. Вы сами знаете, мне прекрасно знакомы эти извивающиеся твари, которыми кишит Кранэ. Змий-искуситель, как мне твердили в детстве, шипел, совращая нашу праматерь Еву. И прекрасная Ева — та же Психимора! Прекрасная Психимора, отравившая на веки веков все человечество. Но наша Психимора шипит лучше. Желтые водяные ужи, вы еще будете по ошибке попадаться в мои верши и корчиться там, словно от подавленного смеха. Змеи соблазнов, пусть вас будет тысячи: я предпочитаю иметь дело с вами. И вы, угри из мутных вод Омэ, и вы, розоватые земляные черви, выползающие из-под лопаты Барбеливьена, вы подобны мыслям, что копошатся в болотной тине нашего ума. Из всех пресмыкающихся в моей власти только одна змея — моя гадюка! Помнишь, Психимора, ту гадюку, которую ты, по-видимому, очень жалела, когда говорила: «Господь ниспослал Жану великую милость».

Эту гадюку, мою гадюку, я когда-то удушил

насмерть, но она возрождается везде и всегда, я размахиваю ею и неизменно буду размахивать, как бы ты ее ни называла: ненавистью, стремлением досадить тебе, отчаянием или склонностью к самоистязанию! Я потрясаю этой гадюкой, твоей гадюкой, размахиваю ею, иду по жизни с этим трофеем, пугаю досужую публику, которая расступается, образуя вокруг меня пустоту. Благодарю тебя, дорогая матушка! Я тот, который идет, стиснув змею в кулаке.